

Примечание к путеводителю. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://granikdaniel.ru/> Приятного чтения!

Примечание к путеводителю. Даниил Александрович Гранин

ВСТРЕЧА В АББАТСТВЕ.

Это было первое мое утро в Лондоне и в Англии. Выйдя из гостиницы, я пересек улицу и очутился в Гайд-парке. Мелкий туман лежал в зеленых лощинах. На траве валялись шезлонги. Парк был пуст. Не очень-то мне хотелось топтать траву, к тому же она была мокрая, но раз уж я попал в Англию, я обязан был ходить по газонам. Во всех путеводителях, во всех путевых очерках говорилось о том, что в Англии ходят по газонам. Я вступил на газон. На всякий случай оглянулся. Для верности я остановился, подождал – никто не засвистел. Трава была скользкой, ноги у меня скоро отсырели, я с удовольствием вернулся бы на асфальт аллеи, но теперь боялся, как бы меня не шуганули обратно, что-то ведь должно быть запрещено. Либо по аллеям, либо по траве. И надписей никаких не было, и правил, как пользоваться парком. А в путевых очерках, даже в самых лучших, например у Сергея Образцова, тоже избегали сообщать насчет аллей.

На повороте конной дорожки я подождал. Прошла минута. Никто не появлялся. Я удивился. Я точно знал, что должно быть здесь по утрам. Я даже начал сердиться. В это время из-за деревьев вылетели опоздавшие всадники; подъезжая ко мне, они притворились, что ничего не случилось. Я недовольно покачал головой, но все же успокоился. На ухоженных лошадках сидели ухоженные джентльмены и леди с хлыстиками. Как и полагалось по всем путеводителям и опять-таки по путевым очеркам, утром на лошадях совершались прогулки по Гайд-парку. Все оказалось на своих местах. И мраморные арки, и жирные дрозды, и тонкие лебеди на прудах. Я шел, как завхоз, проводящий инвентаризацию, и вскоре печаль, похожая на этот мелкий туман, охватила меня. Я перестал понимать, зачем я сюда приехал. Чтобы проверить, все ли на месте? Кажется, впервые в жизни я потерял вкус к путешествию. И это в первое утро, то особое, всегда удивительное для меня прекрасное первое утро в новой стране!

Светило солнце, потеплело, зелень пахла свежестью, утро делало вид, что оно не виновато.

«Что тебе еще нужно? – спросил я себя. – Какого черта? Ты ведь любил эту страну, ты столько читал о ней, смотрел ее во всяких фильмах, тебе она нравилась, тебе нравились ее люди, ее замечательные люди, такие, как Свифт, и Резерфорд, и Фарадей, и Бернс, и Максвелл, и Киплинг, и Конан Дойл, да мало ли! Что ж ты морочишь себе голову?»

Слова мои были неопровержимы, убедительны, логичны. Тем не менее они не помогали. Что-то испортилось. Я шел и думал о том, что когда-то люди путешествовали, чтобы открывать новые земли, новые народы, обычаи, природу, – словом, открывать.

А нынче? Я вспомнил ежегодные тучные стада туристов, которые топчутся по всем храмам, замкам, музеям с путеводителями в руках, всех этих немецких и американских старух, всех отпускников, увешанных фотоаппаратами и кинокамерами, что-то отмечающих крестиками и птичками, туристские автобусы с микрофонами и удобными креслами, из которых неохота вылезать.

А зачем вылезать? И вообще, зачем ехать, когда все это можно увидеть дома, в цветном кино, и на открытках, и в телевизоре, и в роскошных альбомах? Стоило ли ехать в Лондон на футбольное первенство, когда, сидя под Ленинградом, мы отлично видели на экране все подробности, лучше, чем на стадионе!

Я шел по Гайд-парку и мысленно перебирал все, что нам предстоит осмотреть. Когда-то я жадно читал путевые очерки об Англии. Я читал их в разное время, но сейчас они слились неразлично. Никто ни у кого не списывал – наверное, авторы и не читали друг друга, и тем не менее каждый неукоснительно повторял один и тот же набор английских впечатлений. За сотню лет установился обязательный перечень для всякого пишущего об Англии.

Если бы я собирался писать еще одни путевые заметки, то не имело, конечно, смысла ехать в Англию; вместо того чтобы болтаться по стране, можно было в это же время преспокойно писать о ней, сидя дома. Для этого достаточно было взять несколько подобных очерков, все равно каких, можно старых, времен Марка Твена или Чапека, можно поновее – вплоть до Сергея Образцова или даже Утченко, и

Примечание к путеводителю. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru вывести нечто среднее. Бояться тут нечего, ошибки не будет: Англия тем и хороша, что в ней ничего не меняется. По крайней мере для путешественника: он может приехать на десять лет позже, на двести раньше и написать свои впечатления об Англии двадцатого века или двухтысячного года – получится примерно одно и то же. Учесть лишь мелкие подробности, например насчет транспорта... И то ничего существенного тут не произошло. Вот, например, как Чапек описывает движение на лондонских улицах двадцатых годов нашего века: «Бесконечной, непрерывной лентой тянулись в четыре ряда всевозможные автобусы, пылящие, облепленные роем людей, как стадо рвущихся в атаку мастодонтов, рокочущие автомобили, грузовики, паровые машины, велосипедисты, летящая свора автомобилей, бегущие люди, машины скорой помощи...» Вычеркнуть паровые машины – и все будет точно. По-прежнему несется бог весть куда то же стадо, так же ошеломляя, подавляя размерами, количеством, безостановочностью, все так же испытываешь нечто катастрофическое от размеров Лондона, от этого скопища людей. Все так же путешественник начинает чувствовать себя ничтожной бактерией...

Я попробовал забраться еще дальше в прошлое, куда-нибудь в девятнадцатый век: «Узкие, извилистые улицы сплошь залиты живым потоком. Омнибусы, кареты, кебы, огромные фургоны с кладью тянутся непрерывной нитью... Лавируя между мордами лошадей и между колесами экипажей, пользуясь заминкой, перебегают пешеходы с одной стороны улицы на другую. На тротуарах тоже сплошной поток пешеходов. Все как будто высечены по одному образцу: все в черных сюртуках и цилиндрах, все одинаково выбриты, и у всех на лице застыло одинаково деловое выражение...» Это написано было в 1890-х годах Дионео.

И так же ощущал Лондон в 1840-х годах Фридрих Энгельс. Снова «...с трудом пробиваясь сквозь толпы людей, бесконечные вереницы экипажей и повозок...» Кстати говоря, отличное описание Лондона. И опять уже тогда оказывается, что «...в самей уличной толкотне есть что-то отвратительное, что-то противное природе человека». Слишком много людей. Все они одинаковы и все бесконечно разобщены: «...как будто между ними нет ничего общего, как будто им и дела нет друг до друга, и только в одном установилось безмолвное соглашение, что идущий по тротуару должен придерживаться правой стороны».

И в восемнадцатом веке, и, наверное, в семнадцатом Лондон производил на приезжих то же самое впечатление. Можно подумать, что город этот сразу появился переполненный, тесный, с незатихающим уличным движением, и с тех пор, не останавливаясь, столетиями мчатся куда-то люди, катятся колеса, повозки сменяются кебами, кебы лимузинами, омнибусы автобусами, велосипеды мотороллерами, но дух города не меняется.

Первое ощущение от города было – громадность. И города-то я еще толком не видел. Я вышел из отеля и пошел по Санкт-Петербургской улице. Тихая, составленная из трех-четырёхэтажных домов, вроде бы совсем провинциальная, и прохожих мало, и движение редкое, и тем не менее было явственно ощущение невероятных размеров этого города. Оно возникло необъяснимо, как чей-то взгляд в затылок. Ни в каком другом большом городе не было этого постоянного ощущения присутствия миллионов людей.

Разумеется, и это мое ощущение не было моим. Все путешественники писали то же самое. Любое мое чувство и наблюдение было уже описано. Лондон состоял из цитат. Соборы, ленч, туманы, парки, клерки, Сити, каминь – все было в кавычках. Из одних кавычек я попадал в другие. Я был обречен на плагиат.

У плагиата свои правила. Лучше всего списывать не с одной книги, а с многих. Выводить среднее. Избегать афоризмов и дат. Если списывается больше одной страницы, то на всякий случай следует добавить что-то вроде: «Говорят, что...» или «Считается, что...»

Достаточно прочесть несколько очерков, зарисовок, путевых впечатлений и т. п., и станет ясно, что нет ничего легче, как описать Лондон.

Всякое более или менее добросовестное описание включает следующее:

1. Туманы. Фог и смог, копоть на стенах, черно-белая графика домов, левостороннее движение, двухэтажные автобусы, потоки машин, длинные улицы одинаковых домов, по-разному раскрашенных; скверное метро.

Примечание к путеводителю. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
2. Смена караула у Букингемского дворца. Королевские гвардейцы в малиновых мундирах и высоких мохнатых шапках. Играет оркестр, бьют барабаны, выкрикиваются команды, толпы туристов облепили памятник королеве Виктории, втиснули головы и фотоаппараты сквозь прутья решетки – смотрят этот бесплатный ежедневный оперный спектакль.

3. Площадка ораторов Гайд-парка. Маленькие и большие толпы зевак вокруг кричащих, охрипших политиканов или проповедников. Комедия демократии.

4. Музеи. Британский музей. Национальная галерея. Музей восковых фигур. Картины прекрасные, экспозиция плохая, музеев слишком много, от количества экспонатов кружится голова. Дается описание Мадонны Леонардо, обязательно Тернера и еще двух-трех художников по выбору. Музей восковых фигур подвергается осмеянию.

5. В Тауэре бродят вороны. Приводятся соответствующие легенды об этих воронах. Мрачная летопись преступлений, убийств, несчастные маленькие Эдуарды, задушенные где-то под лестницей.

6. Английские традиции – камин, мешок с шерстью, на котором восседает спикер, пивные – пабы, королева, рождественская индейка, лондонские клерки в котелках, с черными зонтиками, ресторанчик Шерлока Холмса. И вывод: что дают традиции рядовому англичанину? Ничего не дают.

7. Вестминстерское аббатство, Сити, рекламные огни Пикадилли, подозрительные кабачки Сохо, аристократические кварталы Вест-Энда, контрасты.

8. Встречи с лондонцами... Тут тоже особой фантазии не требуется: любые встречи, независимо от того, были они или нет, должны сводиться к тому, чтобы доказать, что англичане, и лондонцы в частности, вовсе не чопорны, не холодны, им доступно чувство юмора, они даже смеются, – словом, они никак не соответствуют традиционному образу молчаливых, замкнутых англичан.

Любопытно, с какой настойчивостью в каждой книге убеждают, что англичане вовсе не похожи на англичан. Кто первым вывел этот традиционный образ англичанина, на который англичанин не похож, выяснить не удалось. Ссылок никто не приводит, однако все опровергают, опровержение длится много лет, и не следует обходить это правило. Приемы используются проверенные, безопасные:

«Напротив меня сидел сухопарый англичанин с гитарой. Мы разговорились...»

«Молоденькая высокая англичанка, узнав, откуда мы, сказала...»

«Шофер такси оказался славным малым, он рассказал мне...»

Какими бы ни были встречи, приятными, неприятными, они приводят к неизбежному выводу – глубоко интимному, выношенному, который вырывается произвольно: «...и все же, если меня спросят, что мне больше всего понравилось в Англии, я должен признаться: талантливый, трудолюбивый английский народ».

Восемь этих глав про Лондон как минимум обязательны в каждом очерке. Регламентированные наборы существуют и для Эдинбурга, и для Стратфорда, и для прочих мест. Никаких добавочных приключений нынешним путешественникам не полагается.

Книга получится ничуть не хуже других книг, странно, что никто до сих пор не догадывался заняться этим.

Но я не собирался писать про Англию.

– Правильно, – сказал мне сухопарый англичанин с гитарой, – невозможно написать что-либо новое на материале столь короткого пребывания в стране.

– Между прочим, ерунда, – ответил я. – Можно написать про один день своей жизни огромную книгу. Еще Лев Толстой пытался написать такую книгу, ваш Джойс написал такую книгу, лучшую свою книгу. День – это даже слишком много; наверное, можно написать про несколько часов, самых обычных, заурядных часов своей жизни, а уж путешествия – тем более.

Примечание к путеводителю. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru Однако выяснилось, что жизни-то нет. Вместо жизни имелась расписанная вперед по часам программа всех действий и перемещений: я мог знать, где и когда я буду, что увижу, что буду делать. Самого меня как личности не существовало, от меня ничего не требовалось, гид вкладывал в меня необходимые сведения, на очередную достопримечательность выдавались апробированные, заготовленные впечатления. Не нужно было думать, действовать, надо было лишь быть в составе, быть как все, не отставать, не высовываться. А говорят, были времена, когда путешествие было открытием неизвестного, путешественники переживали приключения, опасности.

«Что же мне делать, – подумал я, – как стать путешественником в этой стране, которую никто не открывал, которая открывала других? Как выбраться из этого заколдованного круга чужих впечатлений, сведений, описаний?»

Я ничего не мог придумать. Я вернулся в отель, потому что я должен был туда вернуться, я сел в автобус, потому что пора было садиться. Мы ехали, останавливались, вылезали, снова садились. В репродукторе звучал голос гида. За стеклом проплывали улицы, витрины, достопримечательности, все это было хорошо поставленной широкоформатной цветной кинокартиной, объемной, стереозвуковой, сделанной в новой документальной манере, – поток жизни. Потом мы обедали и снова ехали, шли по залам музеев, потом ужинали и опять ходили. Тауэр был такой, как на фотографиях, картины были такие же, как в монографиях. На Темзе стояла «Дискавери» капитана Скотта и дальше мост Ватерлоо и Парламент.

Постепенно я втягивался в странную легкость такого существования, мнимого, призрачного и весьма удобного, поскольку не нужно было ни о чем думать, ни о чем заботиться, ничего искать, мне указывали, куда смотреть, что тут красивого, я убеждался, что все стоит на своих местах, что это и есть тот самый, а это всемирно известный... жил глазами, ушами, ногами. На стритах пахло бензином, в парках – каштанами; вороны Тауэра каркали, негры в котелках, помахивая портфелями, спешили на службу. Я был доволен: Лондон был построен в точном соответствии с путеводителями, очерками и кинокартинами.

На площадке ораторов Гайд-парка по воскресеньям добросовестно несли свою службу ораторы. И речи их были те же самые, что и всегда. Какой-то индус проповедовал гипноз. Студент все так же настаивал на необходимости реформы образования. Как и сто лет назад, ходил седоусый джентльмен с плакатом, возвещающим конец света. Индус требовал свободу Ирландии. Старушка поразительно сильным голосом читала библейские тексты. Бородатый пророк призывал всех вернуться в Израиль. Тут же хор из трех человек исполнял псалмы. Скрипач пикировал подле одной из трибун. Яростно спорили два толстяка – один на трибуне, другой в толпе – об экономике Египта. Больше всего слушателей окружало оратора, осуждающего агрессию во Вьетнаме. Носились крикливые фашиствующие поклонники Мосли, бородатые, в красных рубахах, но несмотря на свою молодость, они казались ветхими, какая-то гальванизированная архаика.

Большой Бен стоял на месте. Резиденция премьер-министра оставалась на Даунинг-стрит, 10. Королевские гвардейцы действительно носили высокие мохнатые шапки и алые мундиры. В девятнадцать часов началась церемония смены караула. Три тысячи туристов сделали тридцать шесть тысяч снимков, не считая сотен метров отснятой киноплёнки.

В кабачках Сохо шли стриптизы. Зазывалы стояли у маленьких входов, ведущих в подвальчики. Проститутки выстроились в соседнем переулке возле машин, поигрывая ключиками. Автобусы с туристами всех стран подъезжали к собору святого Павла, к Темплю, к Парламенту. Мы покупали с ними одни и те же открытки и сувениры, пока наши гиды на всех языках рассказывали одни и те же истории.

Меня начала устраивать такая жизнь. Во всяком случае, это было удобно. Вечером мы возвращались в номер и смотрели телевизор. Там показывали фильмы с убийствами, мотогонками, потом реклама шампуня для волос, снова пальба, а в двенадцать ночи исполнялся гимн, показывали несколько кадров хроники с королевой, и мы ложились спать.

Иногда мне снились коровы на зеленом лугу в красных мундирах королевских гвардейцев. Веселые, бездумные стеры смотрелись как продолжение телевизионных программ. Мы жили в волшебном стерильном королевстве, лишенном всяких мучительных проблем. Стоит ли чего-то добиваться, искать, спорить, за вас думают другие, ваше дело – соблюдать программу, и все будет о'кей! Дни скатывались в

Примечание к путеводителю. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru минувшее, точно по графику, легко и безмятежно, не оставляя ни разочарования, ни чувства утраты, ничего не оставляя. И если бы не случай в Вестминстерском аббатстве...

Строго говоря, нельзя называть это ни случаем, ни происшествием. Я шел вместе со всеми вслед за экскурсоводом, разглядывая витражи, распятия, надгробия знаменитых кардиналов, полководцев. Вдруг, бывает же так, какой-то толчок изнутри, я посмотрел под ноги и увидел маленькую, затоптанную тысячами ног плиту с полустертой надписью: «Майкл Фарадей». Еле виднелся ее светлый мрамор среди каменных плит пола.

Я забыл об экскурсии, о других великих, которые, как мне было известно, находились в боковых притворах, я остановился и застыл, сперва без мыслей и чувств, а потом что-то во мне мучительно дрогнуло, и я почувствовал самого себя. «Душа моя очнулась» – так говорили когда-то, и хорошо говорили.

Михаил Фарадей был одним из героев моего детства. Я прочел книгу о том, как он мальчиком работал подмастерьем в переплетной мастерской и по ночам сидел над растрепанными томами, которые приносили переплетать заказчики. Жизнь его начиналась трудно и далеко от славы и науки, она казалась доступной и не требовала для подражания ничего, кроме увлеченности и бедности. Я тогда тоже хотел стать великим ученым. В детстве достижимо все – можно стать силачом, летчиком, красиво умереть, переплыть океан. Герои менялись. Гаврош, Спартак, Овод, Монте-Кристо, Чкалов, среди них Фарадей был самым скромным. Он не умел стрелять. Вообще неизвестно, мог ли он драться, давать сдачи. Время от времени я жертвовал своей ученой карьерой ради Днепрогэса, борьбы с врагами народа и полета на полюс, но Фарадей почему-то не покидал меня. Он появлялся где-то на уроках физики и химии. Незаметно и преданно сопровождал он меня и в студенческие годы. Я все еще думал, что могу добиться всего, чего захочу. Я путал увлеченность с талантом. Тем более что у Фарадея все выглядело как нельзя просто. Он не отпугивал математикой, формулами. Опыты его делались самыми элементарными средствами. Лишь в аспирантуре я начал кое-что понимать в простой, с виду монотонной жизни этого человека.

Фарадею был тридцать один год, когда он записал в своей книжке: «Превратить магнетизм в электричество». Так записывают себе задания в перекидном календаре. В карман сюртука он положил медную спираль и железный брусок. С тех пор он носил их постоянно, то и дело вынимая, принимаясь по-всякому вертеть в руках. Куда бы он ни шел, что бы ни делал, всегда с ним были спираль и брусок. Брусок был магнитом, спираль – проводником. Одновременно с ним во Франции над этой проблемой думали Ампер и Араго. Спустя три года Ампер отступился, он решил, что электрический ток посредством магнита получить невозможно. Фарадей упорно продолжал вертеть в руках свою спиральку и брусок. Он занимался светом, электрохимией и магнетизмом и неотступно размышлял над своей главной задачей. Конечно, он не знал, насколько она окажется главной среди всех его открытий, его не занимали практические результаты: революция в энергетике, электростанции, генераторы, двигатели – все, к чему приведет его открытие. У него было лишь ощущение связи двух явлений, один из секретов природы, который он хотел разгадать: спираль и брусок. Шли годы, усилия его ни к чему не приводили. А впрочем, неверно, он постоянно получал результаты, неважно, что отрицательные, важно, что он что-то узнавал, – это процесс познания, счастливый уже сам по себе. Спустя десять лет он получил и тот самый результат, тот знаменитый, конечный, исторический, который осветил весь его путь светом славы и успеха. За несколько дней он провел опыты, и открытие его отлилось в наиболее совершенную, может быть, идеальную форму. Через полвека другой великий физик, Максвелл, писал: «...самые опытные физики не смогли избежать ошибок, когда они пытались описать открытия Фарадея и проверенные им явления более научным языком, чем сделал сам Фарадей. Уже прошло полвека со времен Фарадеева открытия, и безмерно умножились как способы его практического использования, так и значение их для жизни. И в этой практике ни разу не обнаружилось ни малейшего противоречия или исключения из тех законов, какие установил Фарадей. Больше того, та первоначальная форма этих законов, какую придал им Фарадей, остается до нынешнего дня единственной...»

Среди поучительных, анекдотических, хрестоматийных историй великих открытий открытие Фарадея антилегендарно. Не падала яблоко, не прыгала крышка чайника. Случай не приходил на помощь. Не было озарений, счастливых стечений обстоятельств. Порода, которую он долбил, была слишком крепка, ему пришлось

Примечание к путеводителю. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru пройти весь путь без льгот и нечаянных находок. Десять лет он отбирал вариант за вариантом. Гениальность его состояла не из школьного терпения и трудолюбия. Он умел изобретать все новые комбинации, задавать все новые вопросы. Воображение его было неистощимо. Так Иоганн Бах возводил свои фуги, извлекая неисчерпаемые вариации из одной темы. Так Хемингуэй в романе «Прощай, оружие!» тридцать семь раз переписывал последнюю страницу. Тридцать семь раз – какой поучительный пример для молодых писателей! Вот вам, милые, образец добросовестности и высокой требовательности к своей работе!

Но даже когда я стал немолодым писателем, мне при всем желании не удавалось больше шести-восьми раз переписывать незадавшуюся страницу. Я переставал видеть, что там плохо. Зато я понял, что такое большой талант. Тот же Хемингуэй мог написать с ходу, без помарок совершенную вещь, но нужен был великий талант Хемингуэя, чтобы тридцать семь раз найти, что переделывать, увидеть заново, иначе, лучше.

Фарадей не ослеплял гениальностью. Гением можно восхищаться, ему нельзя подражать. Почти полностью потеряв память, Фарадей продолжал исследование. Память для экспериментатора – то же, что слух для композитора. Это было так же мучительно, как глухота Бетховена. Трагедия сближает великих людей с человечеством. Мужество Фарадея стало для меня одним из примеров. Прошло столько лет, и время не повлияло на оценку его жизни. В ней ничего не превращалось в заблуждение, не становилось наивным. Я знал, что он похоронен в Вестминстерском аббатстве рядом с Ньютоном, и действительно, рядом лежала большая плита – Исаак Ньютон, и за ней опять маленький камень – В. Томсон. Тут же лежали плиты с именами Максвелла, Ч. Дарвина, Вильяма Гершеля и сына его, также знаменитого астронома, Джона Гершеля.

В биографиях великих ученых для меня наиболее волнующим и таинственным было выявление личности, как они находили себя. Они еще не знали, что им суждено, и я, переживая, следил, как они сбивались, плутали, нащупывая свое призвание. С тревогой следил я за Вильямом Гершелем, когда отец зачислил его в полк музыкантом-гобоистом. Как Гершель через несколько лет дезертировал, бежал в Англию, стал там учителем музыки, как он от теории музыки перешел к математике, от нее к оптике и, наконец, нашел свою астрономию.

На памятнике Ньютону были строчки: «Да поздравят себя смертные, что существовало такое и столь великое украшение рода человеческого».

Я был тот самый смертный. Я почувствовал, как много значили для меня примеры этих жизней. Они действительно украшали человеческий род, это было точно сказано, и ценность этих украшений не меняли ни мода, ни вкусы, ни наша запоздалая мудрость. Они помогали нам оставаться язычниками, не сводить нашу веру к единому, единственному божеству, одному великому, непогрешимому, мудрейшему, тому, кто мог решить любую проблему философии, конструкции стрелкового оружия и сбора хлопка.

Мои боги не имели ни власти, ни прав... Но сейчас я не собирался сравнивать, я слишком был занят ощущением встречи. Могила пробудила во мне древнее, не истребленное никаким воспитанием чувство: хотелось опуститься на колени, прикоснуться рукой к этим плитам. Постоять, мысленно общаясь с теми, кто лежал здесь.

...Разбитый автобус трясся по булыжнику шоссе. Сквозь дрему я услышал голос кондукторши: «Пушкинские Горы». Не успев понять, что я делаю, я выскочил на остановке, оглянулся. Был вечер, осенний, ветреный. Автобус ушел. Мне надо было ехать еще далеко, в совхоз, но я пошел в гостиницу и обрадовался, что там нашлась свободная койка. У меня не было в Пушкинских Горах знакомых и не было никаких дел. Я перекусил в чайной и лег спать. Посреди ночи что-то меня разбудило. По лунному сводчатому потолку метались тени ветвей. В нескольких шагах от меня, в монастырском дворе, лежал Пушкин. Вдруг это соседство, его присутствие ощутилось как неповторимое событие. Я встал, оделся, вышел в монастырский двор и поднялся по шумным от палых, сухих листьев ступеням к церкви. При свете луны я нашел белый камень. Долго сидел перед могилой, среди ночных шорохов и треска падающих листьев. Из таких встреч и складывается жизнь человека. Где-то, к концу пути, выявляется, что было их совсем немного, может, несколько часов или, если повезет, дней. И события-то никакого не было, а ведь

Примечание к путеводителю. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru запомнились навсегда со всеми красками и зыбкостью эта ветреная ночь у могильного камня, крик петухов, как блестела луна на траве, темная громада церкви, монастырские стены, счастливое чувство связи времен, того, что связывало меня с Пушкиным, и того, что будет и после меня, с кем-то затерянным в будущем, эта река времени, что шла сквозь меня, – я отчетливо ощутил ее мирный, устрашающий и благотворный ход.

И вот сейчас я вспомнил ту ночь в Святогорском монастыре. Сколько раз видел я на картинах этот монастырь и могилу Пушкина, так же как и фотографии надгробия Ньютона, – ну и что из того? Никакие знания и сведения не могли заменить моего присутствия и дать этих минут. Эффект личного присутствия – так называют его психологи.

Разноязычный гул поднимался к сводам аббатства. Шли экскурсии, туристы бродили, выискивая знакомые памятники, надгробия, капеллы. В боковых притворах горели свечи, священники справляли службу. Толпы туристов окружали надгробные статуи Марии Стюарт и Елизаветы. На скамьях молящиеся. Лица их были отрешенны, сосредоточенны. Они не обращали внимания на суету у могил Шелли, Байрона, Киплинга, на гидов, показывающих могилу Неизвестного солдата. И я тоже не хотел куда идти, ничего смотреть. Я стоял у дорогих мне камней и думал о том, что никогда уже не стану ученым, что моя мечта о науке не сбылась. Ничего не осталось ни от детства, ни от юности, от победных, веселых надежд, ничего, кроме горьковатой любви к этим великим именам. Но и за это я был благодарен им, и за то, что вот сейчас они заставили меня думать о том, правильно ли я жил. Когда-то паломники шли к святым местам приобщиться, исполниться благодати, и это было не так уж глупо.

С вышины под сводами собора падали, скрещиваясь, широкие лучи света.

– Пошли, – сказал мне кто-то из наших. – Пора.

– Сейчас.

Я еще постоял, прощаясь. Какая-то группа туристов подошла к гробнице Ньютона.

– А, Ньютон! О, Ньютон! – И они расположились фотографироваться так, чтобы видны были доска, надпись и они сами. Фотограф встал на полустертую плиту Майкла Фарадея.

У выхода служка продавал божественные брошюры. Он вскинул глаза на меня – что вам угодно? – я улыбнулся ему, он понял, что ничего мне не надо, я просто увидел его самого. Наверное, ни разу за день никто не посмотрел на него. Он несмело улыбнулся.

На площади светило солнце. Где-то над ним горели невидимые двойные звезды Гершеля. Земля двигалась по законам Ньютона, свет – по уравнениям Максвелла, а на Бейкер-стрит сидел у камина, попыхивая трубкой, Шерлок Холмс, и неподалеку от него жил Диккенс, и вдруг стал вспоминать одного за другим – Уэллса, Резерфорда, таинственного чудака лорда Кэвендиша, Бернарда Шоу, Алана Силлитоу, как мы сидели с ним в Ленинграде и пили пиво, английского летчика в 1944 году на фронте в Восточной Пруссии, Льюиса Кэрролла и Джона Бернала... Я и не представлял, сколько у меня здесь знакомых. Как это мне раньше не приходило в голову! Я мог иметь свою Англию, нигде не списанную, ни с кем не совпадающую.

Меня ждали в автобусе. Кажется, я сел в автобус. Теперь это не имело значения. Я не слушал гида, я смотрел на громаду Вестминстера, грустно было уезжать отсюда. Я выпал из заведенного распорядка. Отныне я не был обеспечен проверенными маршрутами и бесплатными чувствами. Так ехать было труднее, рискованней, но изменить что-либо было поздно.

ПИКАДИЛЛИ

«Пикадилли» я прежде всего воспринимал как кинотеатр. До войны был такой кинотеатр в Ленинграде, недалеко от нашей школы. Пока проветривали зал, мы пробирались со двора по черной лестнице. Если не было свободных мест, мы садились в проходе, подложив под себя наши портфельчики. Кругом пахло жареными семечками и галошами. В «Пикадилли» я впервые увидел «Снайпера» и «Путевку в

Примечание к путеводителю. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru жизнь». Кинотеатр «Пикадилли» было детство, чернильницы-невыливайки, игры в орлянку. Много позже я узнал, что в Лондоне тоже есть Пикадилли, а в Риме – Колизей, но для меня это прежде всего были кинотеатры.

– Вы были на Пикадилли?

– Мы пойдем на Пикадилли.

– На Пикадилли нужно идти вечером.

– Ночью!

– Пикадилли – это то же самое, что площадь Пигаль в Париже.

Мы пришли туда под вечер. Пикадилли оказалась маленькой, тесной круглой площадью. В середине стоял огороженный памятник Эросу. Бог любви был сделан из алюминия. За низкой металлической решеткой на ступеньках памятника сидели и лежали битники. Их было десятка два-три. У всех, конечно, были длинные, до плеч и ниже, волосы. Стояли теплые сентябрьские дни, и некоторые были босиком. Одеты они были по-разному. Пиджаки на голое тело. Белые рубашки навывпуск. Рваные парусиновые брюки. Соломенный колпак. Полосатая арестантская куртка. Подведенные синью глаза – не то парень, не то девушка. Пришел парень в старом солдатском мундире и трусиках. Компания в синих балахонах лениво пела под гитару. Поодаль на тротуарах топтались туристы и разглядывали битников. Прохожие тоже задерживали шаг, поглядывая туда, за решетку.

Я не заметил прохода в ограде, мне показалось, что битников просто содержат там ради туристов: главное украшение Пикадилли, зоопарк на площади. К ним и впрямь никто не решался войти. Они уныло бродили по своей арене, подставляя себя под взгляды любопытных.

Но тут мы обнаружили проход и, набравшись духу, пересекли площадь. Никто из битников на нас не кинулся. Они не кусались и не рычали. Трое, среди которых, по некоторым слабым признакам, была одна девушка, расстелив газету, закусывали: бутылка молока, галеты и сыр. Мы прислонились к ограде, привыкая и давая им тоже свыкнуться с нашим присутствием. Мы курили, рассеянно поглядывая по сторонам. Было невежливо уставиться вплотную на этих ребят. Хотя, судя по всему, они привыкли к тому, что на них смотрят. Проходили минуты, и чем дальше я наблюдал за ними, тем непонятней для меня становилось их поведение. Вначале казалось, что они чего-то ждут. Но никто из них ни разу не посмотрел на часы, не проявил нетерпения. Они не отдыхали, не трепались, не задевали прохожих, не глазели по сторонам. Они вообще ничего не делали. Двигались они замедленно и бесцельно; подошло некое бесполое существо в грязном халате, его встретили улыбками, похлопали по плечу, никаких возгласов, расспросов. Появились двое завитых мальчиков с накрашенными губами, в туго обтянутых штанах. С этими по крайней мере было все ясно.

Больше всего меня заинтересовала одна парочка. Он сидел на ступеньках неподвижно и молча. Девушка, стоя на коленях, расчесывала ему волосы. Она занималась этим со всей серьезностью. Бледное, довольно красивое лицо парня скорбно застыло. Он не замечал ни ее, ни окружающих, взгляд его был устремлен в абстрактную бесконечность. Блестящие длинные волосы были давно уже идеально расчесаны, они гладко спадали на его худые плечи, напоминая царевича Алексея, а девушка все пропускала их через гребень. Движения ее были монотонны, она наклонялась то с одного бока, то с другого и все водила гребнем и оглаживала его волосы рукой. Я тщательно старался понять, что же должно это означать; она, конечно, не причесывала, она изображала причесывание, не понятно для кого. Это не было игрой в куклы и не было спектаклем. Они не искали зрителей, не старались привлечь к себе внимание. И другие битники принимали их действия как нечто естественное. Наконец девушка устала, села рядом со своим дружком.

Тем временем стемнело. На площади толчками разгоралась реклама. Изогнутые, бегущие, верткие росчерки всех цветов. Затеяливо пульсировала реклама сигарет, реклама каких-то средств, каких-то снадобий и, разумеется, реклама кока-колы. Вспыхнули огромные часы с маятником, реклама «Дейли экспресс», реклама «Макс фактор», реклама нового кинофильма. Площадь съезжилась, высокие огни стиснули ее, заслонили здания. Реклама громоздилась на рекламу, слишком цветастые и яркие, и к тому же еще на крохотном пространстве. Как плохие декорации, как безвкусное

Примечание к путеводителю. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru изображение капиталистического города. Впадающие на площадь улицы выглядели вполне пристойно: широкие, с истинно роскошными витринами, освещенные ярко, но без назойливости. На Пикадилли же Лондон слегка пародировал себя. Все было так, как в самых халтурных очерках. Он горел, как штамп, как клеймо стандартного представления о капитализме.

В такт огням площадь засуетилась. Ярмарочная эта мельтешня была чужой, не свойственной городу, в ней слышалась одышка. Значит, это и были прославленные огни Пикадилли. Помню, как я был разочарован и обижен. Уж Лондон-то мог расщедриться на что-либо пограндиозней. От центра имперской столицы пахло жареными семечками и галошами. Пожалуй, в «Пикадилли» моего детства киношный капитализм выглядел внушительней, ярче, сказочней.

К нам в загородку, с некоторой опаской, держась кучно, зашли американцы. Они стали обозревать битников, снимать их, осторожно заговаривали с ними. Двое полицейских на всякий случай подошли поближе.

Девушка, отдохнув, снова принялась меланхолично расчесывать шевелюру своего друга, он сидел так же безучастно. Цветные отсветы огней скользили по его застылому лицу. Загадочная бессмысленность этих действий томила меня. Что-то ведь должен был означать этот нелепый ритуал. Битник в трусах расстелил матрасик и улегся спать на ступеньках. Появились еще несколько странников с тюфячками, кажется французы. Была там еще гречанка в сандалиях, несколько итальянцев. Похоже, что под алюминиевым Эросом скрещивались транзиты международных битников. Они иногда охотно отвечали американцам, иногда отмалчивались, но без злости, и это тоже путало. Спутники мои давно покинули меня, а я все не мог оторваться от девушки, расчесывающей волосы. Я искал какого-то объяснения. Мне нужен был смысл, я не мог примириться с абсурдом. Но именно абсурдность притягивала, заставляла ждать.

– Родители? – сказала существо в халате. – Родители все равно что полиция – это правительство, это власть.

Они нравились ему, чужие формулы, придуманные, в сущности, теми же родителями, взрослыми знатоками молодежных проблем. Если б я сам мог что-то понять в этой картинке без конца и начала!

«Нет, Лондон – это не битники, – отчаявшись, утешил я себя. – И не огни Пикадилли. И даже не Оксфорд-стрит. Так же как Ленинград – это не мальчики на углу Невского и Литейного и не кафе „Север“. Нет, Лондон – это совсем другое. Да, – доказывал я, – Лондон – это не кабачки Сохо, и не Тауэр, и не Гайд-парк.» Я перечислил почти все, что видел, и мне стало легче.

Я шел мимо раскрытых дверей всевозможных ресторанов – на столах горели свечи, двигались официанты в чалмах, официанты в ковбойских костюмах. На стеклах лучились искусно сделанные следы пуль. Рестораны китайские, итальянские, мексиканские, а между ними бары – спортивные, охотничьи, бары художников, бары матросские. Нет, это еще не Лондон, повторял я себе. И вообще весь район Пикадилли и Сохо – нетипично и нехарактерно, решил я для простоты.

Крики вечерних газетчиков затихали позади, исчезали прохожие, исчезали нищие, пиликающие на скрипках.

Я уходил в пустынные улицы. Под белым, холодным светом огромных витрин изредка стояли люди. За стеклами тоже стояли люди. Прекрасно одетые мужчины и женщины. В декорированной глубине витрин разыгрывались целые сцены. Манекены сидели, лежали, обнимались. Они шли с зонтиками, накинув полосатые плащи; падал снег, и они кутались в меха; стояла старинная, стильная мебель, и они были в вечерних туалетах: сиреневые тона, золотистые тона, черно-белые. Лаковый блеск тувель, сотни разных моделей, тысячи тувель любых цветов и фасонов.

Безлюдье обнажало богатство и обилие витрин. Нельзя было представить себе, что все это можно поглотить, надеть, примерить, употребить. Слишком много всего. Некогда было выбрать, невозможно остановиться, следующая витрина тащила к себе, и не было им конца. Уже не успеть о чем-то подумать, что-то почувствовать, насладиться, надо было спешить дальше вдоль строя витрин, смотреть еще, еще... Бесконечный коридор слепящих витрин заглядывал. Это был тоже абсурд. Где-то под алюминиевым Эросом девушка в драной тельняшке водила гребнем. Круги абсурда

Примечание к путеводителю. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru словно расхаживал по ночному городу. Сделав усилие, я круто свернул куда-то к району Кенсингтона.

Спускался туман. Жидковатый мелкий туманчик, совсем непохожий на знаменитые лондонские туманы. Вообще с туманами в Лондоне стало туго, это был единственный туман, который достался на мою долю. Светили желтые фонари. На этих улицах отсутствовали магазины, здесь стояли четные дома, было пусто, тихо, изредка проносились желтоглазые машины.

Все дома были одинаковы. Я видел уже немало таких улиц, составленных из примерно одинаковых домов, порой неразделенных, вплотную сомкнутых в один дом длиной в километр или больше, через каждые три окна – подъезд с колоннами, и по другой стороне улицы тянется тот же зеркально отраженный дом. Но тут я увидел ее иначе. Чем-то она меня привлекла, что-то тревожило меня в этом монотонном, усыпляющем повторе. Я свернул на другую улицу. Она состояла из похожих трехэтажных белых домов с круглыми балкончиками над парадными. Масляная краска колонн влажно блестела. Жирный блеск дробился далеко, теряясь в тумане. На ступеньках стояли пустые молочные бутылки. Где две, где одна. Да еще разными были ярко начищенные молотки-ручки на дверях. И сами двери иногда различались. И цветы на окнах.

За одним окном светился голубой экран телевизора. Сквозь щель занавесок виден был мужчина в кресле с газетой и рядом, на скамеечке, женщина с распущенными волосами. Снизу, сбоку шел теплый, розовый свет. Я вытянул шею, заглянул – там горел камин, вернее, не горел, а светился раскаленными электрическими спиралями. Через несколько домов – снова розовый свет, в высоком кресле сидел мужчина и рядом женщина, на большом экране телевизора шла та же программа.

Мы встретились глазами с женщиной, и я узнал ее. Несколько лет я разыскивал ее. Повсюду – в поездах, в театрах, в разных компаниях. Спустила минуту тихонько стукнула дверь, я не оборачивался, я шел вперед, она нагнала меня. На ней был широкий берет, полосатый модный плащ, поднятый воротник скрывал ее лицо. Мы быстро удалялись от ее дома.

Нет ничего лучше рассказа, который еще не написан. Пока рассказ не написан, он кажется великолепным и значительным. У каждого писателя остается много вещей, которые он не успевает написать. Я долго откладывал рассказ про нее, потому что не мог найти город, где это произошло. История не давала мне покоя своей обыденностью. Эта женщина была замужем и полюбила другого. Уходила она к нему нелегко. Развод для нее оказался сложнейшей затеей (особенно в Англии), да и, кроме того, всегда нелегко уходить от человека, который виноват лишь в том, что его больше не любят. В любых странах это нелегко. Но она сумела все преодолеть и переехала к тому, другому. Прошел год. Однажды туманным вечером она возвращалась домой. У подъезда она остановилась в сомнении. В тумане дом показался ей точно таким же, как и тот, где она жила с первым мужем. Белый дом с балкончиком. И две пустые бутылки для молочника. И свет телевизора в окне. Она вошла. В передней стоял такой же зонтик с бамбуковой ручкой, какой был в ее прежней жизни, и висел тот же плащ-болонья и черный котелок. Муж сидел в кресле, развернутая газета скрывала его лицо. Газета была той же самой, горел такой же электрокамин.

Ей показалось, что она никуда не переезжала. Может быть, она ошиблась домом? Я взял ее под руку, мы стали заглядывать в чужие окна. Вначале она противилась. Она была воспитана в строгих правилах английской деликатности и никогда не интересовалась своими соседями. Я уже отведал эти правила. Возле нашего отеля была маленькая старинная пивная. Там встречались одни и те же люди. Мы заходили туда, незнакомцы, иностранцы, однако никто не докучал нас любопытными взглядами и тем более расспросами. Это не было невниманием или равнодушием. Это была именно деликатность – прекрасный английский обычай, благодаря которому мы чувствовали себя свободно и просто.

– Вот мой дом, – сказала она. Но я не остановился, и мы миновали еще несколько домов.

– И этот, – сказала она тише.

У такого же камина, в таком же кресле снова сидел ее муж и рядом она сама. Сцена повторялась, как в зеркальном коридоре, бесконечный ряд отражений сопровождал нас. Всюду появлялось одно и то же. Ничего не менялось. Был ли смысл уходить от одного к другому? Все мужья сидели с газетами, следили за скачками, ставили на

Примечание к путеводителю. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru ту же лошадь, смотрели ту же программу, произносили те же фразы. Они не видели друг друга и не знали, что, одновременно встав с постели, включают ту же бритву «Филипс», съедают овсяную кашку, выпивают чай с молоком, целуют ее и садятся в свои кары. Каждый из них гордился своей независимостью. А где же был тот, что стоял между зеркалами и чьи движения они повторяли? Его не было, он давно ушел, исчез.

Мы остановились. Глаза ее стали большими, блестящими, в их глубине я вдруг увидел женщину, с которой я расстался давно, – может быть, вечер был такой же серый, а может, все женщины в такие минуты похожи. Я знал о ней все. И про эту я знал все, поскольку она была из моего рассказа. Единственное, чего я не знал, – как ей быть. Я никогда не задумывался над этим. Меня занимала сама ситуация, положение, в котором она очутилась. Но теперь я слишком многое вспомнил, я сам очутился в своем рассказе и не знал, что посоветовать, как помочь ей. Оказалось, что рассказ не имеет конца. Она ждала, я молчал. Тогда она улыбнулась неожиданно спокойной улыбкой красавицы с журнальной обложки. Стоит ли огорчаться? Если все так одинаково живут, то, может, так и надо. Чего искать? И где искать?

Она попрощалась и ушла.

Навстречу мне выползали все те же дома той же Кингс-роуд, а может, Интон-сквер, а может, и еще какой другой улицы. Им не было конца, этим прелестным, таким уютным, таким крашеным, начищенным, удобным, продуманным, стриженным. Как будто я прожил здесь целую жизнь, трудолюбивую, свободолюбивую, добропорядочную. «Работать – значит молиться», «Достойный всяческого уважения», «Не будь первым, чтобы испытать новое, а также последним, чтобы отбросить старое», «Англия ожидает, что каждый исполнит свой долг», «Мой дом – моя крепость». А какую другую жизнь я, спрашивается, хотел? Полезная, честная... Но представив ее в этом зеркальном повторе, я ощутил желание взбунтоваться. Лишь бы как-то выскочить из шеренги этих благостных казарм. Как угодно, но я другой, я отдельно! Нацепить на себя дурацкий колпак с бубенчиками, повесить на шею череп, дохлую кошку!

Из-за угла, помахивая зонтиком, вышел низенький господин в клетчатом пальто и золотых очках.

– Послушайте, – сказал я. – Сыграемте на все это. – И я показал на всю улицу и на весь Челси и вынул шиллинг. Вместо орла там были львы и вместо решки – Елизавета.

Господин выбрал решку.

Я подкинул монету. Выпала решка. Я кинул снова. Снова решка. Я кидал ее по-всякому, и все равно она падала решкой вверх. Господин в очках несколько не удивился. Он вежливо поднял котелок:

– Sorry!

В полночь я вышел на какую-то площадь, маленькую, круглую, окруженную кольцом все тех же одинаковых домов. Будь у меня тюфячок, я бы растянулся на нем посреди площади. На какую-то минуту я позавидовал битникам. Конечно, я бы мог лечь и так, но мне жалко было новенького костюма. И потом, в гостинице у меня был номер с телевизором и периной.

Утром я принял душ, побрился бритвой «Филипс» и, расчесываясь перед зеркалом, вспомнил ту парочку на Пикадилли и уличающе усмехнулся. «Битники – это не способ борьбы, не выход, битники никак не отражают социальных устремлений английской молодежи.» Все опять стало просто и понятно, как овсяная кашка, которая ждала меня внизу в ресторане.

СЧАСТЛИВЫЙ КОНЕЦ

День был воскресный, никаких развлечений не полагалось, потому я так обрадовался, увидев оживленные сборища вдоль ограды Грин-парка. На железных прутьях висели картины. Яркие холсты тянулись по всей решетке Грин-парка и дальше переходили на решетки Гайд-парка. Я спрыгнул с автобуса и пошел по этой уличной галерее. Нечто подобное я видел в старых кварталах Варшавы, там тоже по воскресеньям молодые художники выставляют свои картины на крепостной стене. Но

Примечание к путеводителю. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru здесь были совсем иные масштабы, здесь художники развесили тысячи картин, холст за холстом висели вплотную в несколько рядов, стояли на тротуаре километрами, это было какое-то столпотворение живописи.

Втайне, в глубине души, я надеялся: сейчас, мол, я увижу самый что ни на есть модерн, бунтарей, которых нигде не принимают, не признанную в салонах живопись, подпольные таланты.

На железных оградах были и впрямь представлены все модные направления. Тут были абстракционисты, сюрреалисты, супрематисты, поп-арт, ташисты, неодадаисты...

Выбирай любое, под Марке, под Шагала, под Сальвадора Дали, Миро... Желаете рисунки, гравюры, акварели? Цены умеренные. От десятка шиллингов до двух десятков фунтов. На каждой картине цена. Тут же пребывали продавцы, они же и творцы. Молодые бородачи, и старые длинноволосые мэтры, и разбитные зазывалы, и пожилые, усталые женщины, похожие на домохозяйек.

Один торговал ночным Лондоном разных размеров, но одинаково синим с одинаково желтыми кругами света. У другого преобладали пейзажи с оранжевыми кустиками. У третьего – голые девицы, шагающие по улицам с сумочками в руках. Романтическая пустыня с караванами. Композиция из старых газет, наклеенных на холст вперемешку с цветным тряпьем.

Попадались вещи любопытные, для меня непривычные. Например, прикрепленные к грубой ткани плоские модели старых автомобилей. Сделанные из медного листа, сваренные, они представляли нечто вроде барельефа, но, конечно, это был не барельеф. Наверное, такая техника имела специальное название. Профили старых, давно забытых первых «рено», «оппелей», «бьюиков», «фордов» – еще похожие на экипажи, с высокими колесами, высокими кузовами. К искусству картины эти имели косвенное отношение, тут больше значило мастерство, технология. Сами очертания, детали старых машин были приятны. Наивность первых моделей приобрела, оказывается, какую-то эстетическую ценность. Во всяком случае, эти изделия были по-своему красивы.

Сидя на складных стульях, художники-портретисты, не теряя даром времени, рисовали желающих. Попозировав каких-нибудь полчаса, вы могли получить свой портрет, сделанный красками или карандашом. Портретисты пользовались успехом. Любопытные завороченно следили за их лихой работой. Кроме портретов наибольший успех имели аляповатые, ярко написанные букеты, идиллические замки с лебедями, томные красотки, гуляющие в неких аркадиях, кошечки, собачки.

Толпились перед пейзажами с румяными пастушками, парочками, плывущими в чем-то вроде венецианских гондол. Картины эти были той же школы, что продавались у нас на ленинградской барахолке в пятидесятые годы, пошлость того же размаха и мастерства.

И сейчас еще кое-где в провинции на базарах наши отечественные халтурщики не уступают лондонским. Они с успехом могли бы привозить сюда свои произведения и зарабатывать нашей стране валюту. Пошлость, очевидно, явление международное, а может, и космическое. Но если по качеству наши базары могли конкурировать с этой лондонской продукцией, то по количеству мы безнадежно отстали. Размах тут был гигантский.

Я шагал и шагал, не было конца этой мазне. Лишь изредка мелькало что-то подлинное, еще не затоптанное в этой рыночной давке. Среди этой процессии бездарностей оно особенно радовало глаз.

Однажды меня остановила серия картин с голыми девицами. На каждой в разных, грубо вызывающих позах была изображена голая женщина. Лежала, раскинув длинные ноги. Стояла, поддерживая руками свои большие груди, улыбалась и так и этак. Прическа пышная, прическа гладкая, волосы распущенные. Не сразу я понял, что на всех картинах одна и та же натурщица. Мастерство было в сплошной чувственности, которая вплотную приближалась к порнографии, однако не переходила в нее. Смотря картину за картиной, я вдруг увидел между ними ее живую, она стояла, прислонясь к решетке, низенькая, грудастая, в кожаном коротком пальто, большие губы ее были так же полураскрыты, и глаза смеялись, подтверждая. Я смутился, как будто высмотрел что-то недозволенное. Тем более что рядышком сидел, листая газету, сам художник – муж ее либо друг, молодой парень в толстом свитере и плисовых

Примечание к путеводителю. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
штанах. Однако почему я должен был смущаться, если они не смущаются? С какой
статьи!

Рядом со мной остановились двое пожилых англичан. Они, прищурясь, оглядывали, сравнивали живую и ту, на картинах. Натурщица чуть запрокинула голову, заулыбалась, поглаживая себя по грудям, обтянутым черной кожей. Да, сходство с натурой было безупречное, единственное чего не хватало – этикетки с ценой. Даже на англичан цинизм этого соседства произвел впечатление, и они купили одну из картин.

Наиболее невыносимым оказался здешний абстракт. Никогда абстракт не вызывал во мне такого протеста, как этот дешевый, изготовленный уличными шарлатанами на любой вкус или на любую безвкусицу. Уж лучше были кочешки, цветочки, замки, собачки – по крайней мере без притворства, по-своему честная пошлость. В абстрактных же полотнах – а их было не счесть – выдавалась за передовое, модернистское искусство откровенная, бесстыдная поделка. Расчет был простой – на дурака. Дурак ведь как считает? Абстрактное – это то, что непонятно. В абстракте дуракам не отличить, где кончается талант и начинается спекуляция. Рыночный абстракт готовился по коммерческому закону – невежд в искусстве всегда больше, чем знатоков, писать выгодно для невежд, для тех, кто покупает такие картины под цвет обоев, под желание быть на уровне, чтобы все, как у «образованных», у «богатых». А раз так, вали кто во что горазд. Изощрялись, как бы поразить воображение. Впрочем, и не очень-то изощрялись. Накладывались краски хорошо разложившегося трупа. Разнообразие цвета и формы помойки. Меня считали кретином – вот какое чувство у меня было, – легковерным лопухом, который должен принимать их за непризнанных гениев: завтра или через год, через десять лет это фруктовое полотно будет стоить тысячу фунтов. Было же так с Миро, и Модильяни, и с Ван Гогом.

Другие и не собирались притворяться. А чем их мазня отличается от того же Миро? Или Поллака? Или прочих знаменитостей? Докажите! И все они одинаково презирали простаков, которые покупали их картины.

Некоторые с обезоруживающей усмешкой развесили рядышком свои беспомощные пейзажи, и супермодный абстракт, и полотна с пришитыми спичечными коробками, пуговицами, заляпанными выдавленной из тюбиков краской. Что угодно для души.

Было время, когда абстрактная живопись меня привлекала. Я находил в ней свободу домысла, фантазии, ту вольность чувств и настроений, какой мне не хватало в традиционной живописи. Симпатия к абстрактным картинам поддерживалась и чувством протеста – я не желал, чтобы мне в живописи разрешали любить то и не любить это. Рассматривая картины абстракционистов в зарубежных музеях, я не обнаруживал в этих мазках, знаках, пятнах пропаганды. Многие оставило меня равнодушным, какие-то вещи мне нравились, возбуждали воображение неожиданностью сочетаний, были просто красивые, а было и совсем непонятное.

Прошло несколько лет, страсти остыли, и тут у меня произошла собственная размолвка с абстракционизмом.

Случилось это в Австралии. Как и положено впервые приехавшему в незнакомую страну, я добросовестно посещал картинные галереи Сиднея, Мельбурна, Аделаиды. Мне хотелось с помощью художников лучше увидеть и понять эту страну. Уловить дух ее полей, пустынь, увидеть ее людей – первых поселенцев, скваттеров, пастухов, почувствовать быт, характеры, историю, культуру. Мне хотелось получить примерно то же представление о стране и ее искусстве, какое получает чужестранец в Третьяковке, в Русском музее. Не тут-то было. Большую часть экспозиции занимали абстрактные картины. Такие, как висят в музеях Парижа, Роттердама, Стокгольма. Ничего национального в этих австралийских подтеках и кляксах я не мог высмотреть. Где-то в запасниках хранились картины старых мастеров Австралии, но для них не осталось места. Вот когда я ощутил иссушающую бесчеловечность абстракционизма. В нем было ничто. Пустота, которую никакая моя фантазия и воображение не могли заполнить.

Я представил себе полную победу абстракционистов, залы музеев мира, увешанные этими цветными пятнами. И ничего другого. Мир, разбитый на осколки, потерявший человека, смысл, связь. Я разозлился.

Нет, не согласен, сказал я, хватит! Сколько можно!

Второй, а может, третий километр брел я вдоль уличной лондонской картинной барахолки. Плохие художники есть в каждой стране, но я не представлял себе, что их может быть так много. Ноги у меня гудели. Ничто так не утомляет, как посредственность. Да, это была свобода, захваченная ремесленниками. Парад поддельщиков, приспособленцев, а то и просто пачкунов. И происходил он тут же, вблизи Национальной галереи, неподалеку от Тэйт-галереи – великолепных музеев мирового класса.

Конечно, были там и способные художники, которые вынуждены зарабатывать на хлеб у решеток Гайд-парка. Для них благо, что существует такой воскресный торг. Я говорю о самом общем впечатлении. Бездарности, когда они вместе, могут заслонить любой талант. Уже не хочется ничего смотреть. Не веришь, что появилась хорошая кинокартина, что в этом сборнике может быть хорошее стихотворение.

Мне вспомнилась и наша одна давняя выставка – пустынные залы, огромные полотна с одинаково радостными колхозницами, сталеварами, гидростроителями, фрезеровщиками, детьми, и все красивые, все могучие, все на фоне, целеустремленные, счастливые. В книге отзывов я прочел такую запись: «Нам очень понравилась выставка. В залах культурно, никто не толкает, спасибо администрации. Экскурсия слепых».

– Рабиш, – произнес кто-то.

– Рабиш, – повторили в другом месте.

По-английски это означает «халтура». Оказывается, и англичане нуждались в таком понятии. Во времена Даля «халтура» толковалась как даровая еда, пожива. К живописи его не применяли. В живописи тогда было, очевидно, проще: или умеешь рисовать, или не умеешь. Талант был недостижим для имитации. По крайней мере так сейчас кажется. Бездарности даровую еду добывали другими способами.

В музее Глазго Миша А. остановил меня перед круглой картиной Филиппо Липпи. Смотреть картины с Мишей было всегда интересно. Как бы я ни любил живопись, никогда я не сумею видеть ее так, как видит художник.

– Ты замечаешь, – Миша показал на плащ Мадонны, – вот тут Липпи передумал, сначала он давал синий, а потом голубой. А какие мазочки! Еле-еле. Тоненькой кистью! – Восхищаясь, он повторял движения Липпи. – Посмотри, завитками, завитками.

Он сиял. Одно из самых поучительных зрелищ – мастер, который рассматривает работу другого мастера. Встречаясь, они свободно перешагивают столетия. Мастерство – как он делал, как он сумел – вот что они умеют высмотреть друг у друга.

У некоторых картин Миша вынимал блокнот и начинал срисовывать. Наспех, карандашиком. Зачем? Внизу можно купить красочные репродукции. Нет, оказывается, это не заменяет. Ему надо было рукой почувствовать, потрогать каждую линию. И кроме того, рисуя, иначе запоминаешь.

Мы стояли с ним перед пейзажами Сальватора Розы, и он рассказывал когда-то слышанную им легенду.

Замечательный итальянский художник Сальватор Роза, в молодости странствуя, попал в руки разбойников, сдружился с ними и стал чуть ли не их предводителем. Однажды они остановили на дороге экипаж, выволокли оттуда красноликого толстяка в расшитом мундире. Пассажир яростно отбивался, угрожая именем эрцгерцога. Сальватор Роза спросил его, кто он такой.

«Я художник, – сказал толстяк. – Я Рубенс!»

«Вы Рубенс? Великий Рубенс?» – Сальватор Роза снял шляпу и опустился перед фламандцем на колени.

Как бы там ни было на самом деле, легенда была хороша. Так могло быть, перед Рубенсом можно было опуститься на колени. Прекрасно, когда живут художники, перед которыми можно поклониться.

В зеленой полутьме блесст ручей, нависали темно-зеленые купы деревьев, вечер спускался на горы Калабрии. По лесной дороге, опустив голову, ехал всадник. Со всей явственностью я представил на фоне этого диковатого пейзажа Сальватора Розу, его самого после встречи с Рубенсом.

А потом, в Лондоне, мы ходили по залам Тэйт-галереи и смотрели современное искусство, ультрасовременное. Натянутые на тонких, невидимых нитях зеркальца двигались, перекидывая цветные лучи света. Висели, чуть колышась, легкие черные прутья. Смещаясь, они пересекались, создавая прихотливый рисунок. В большом ящике крутились пестрые осколки, напоминая калейдоскоп. Кружились соединенные с электромоторчиком рваные металлические поверхности. На стене висела некая ребристая поверхность, и, стоя перед ней, надо было чуть шевелить головой – тогда полосы хаотически налезали друг на друга. Сооружения эти не имели никакого отношения к живописи. То были остроумные игрушки, производящие механические, оптические и прочие эффекты. Они не требовали умения рисовать, пользоваться кистью. Требовались воображение и выдумка техников и дизайнеров. По-своему они были красивы, но такой красотой обладают модели кристаллов, длинных молекул, печатные схемы транзисторов, биологические препараты.

В соседнем зале, среди картин десятых-двадцатых годов, мне издали бросились в глаза несколько маленьких картин. Что-то было в них отдельное, несхожее с остальными картинами. Я подошел ближе. Русский солдат в белой рубахе сидел на белом коне. Синий фон делал картину чем-то похожей на лубок, но это не лубок, все было просто, ярко и доверчиво, как на детском рисунке. Дальше висела «Прачечная», затем «Осень», «Весна»; Михаил Ларионов, прочел я, и на других – Наталья Гончарова.

Фамилии эти я слышал давно, попадалось мне несколько фотографий этих картин, но сами картины я увидел впервые, вот здесь, в Лондоне. Несколько лет назад, также за границей, я впервые увидел картины Шагала, Малевича, Лисицкого.

Одна из лучших галерей мира считала украшением своей коллекции Наталью Гончарову и Михаила Ларионова, и я, естественно, испытывал гордость, и в то же время чувство это было отравлено. Почему, спрашивается, я должен любоваться картинами многих наших русских художников в заграничных музеях, а не у себя дома? Я представил себе выставленное в этих залах наше молодое искусство первых лет революции, во всем его разнообразии – Татлина, Филонова, Кончаловского, Фалька, Кузнецова, Штернберга, Шагала, Кандинского, Григорьева – их поиски, находки, открытия, представил себе, как сразу сместились бы все оценки. Миру открылось бы как много создало великолепного наше молодое искусство, стало бы ясно, что все лучшее начиналось уже тогда и было смелее, талантливее, интереснее. Всякие американцы и прочие шведы ходили бы по этим залам, ахали и завидовали.

Я мог себе это представить, вспоминая, как ахали мы сами, когда впервые после многих лет открылась выставка Петрова-Водкина.

Картины вытащили из запасников, и они постепенно приходили в себя. Один старик-реставратор сказал мне, что краски портятся в темноте, без света. Но еще больше картины портятся оттого, что на них не смотрят человеческие глаза. От взглядов картина молодеет, она держится. Я сам замечал нечто похожее в запасниках, где самые лучшие картины пожухли, поблекли, покрылись каким-то сероватым налетом забвения.

Однако люди стареют быстрее. Многие мои сверстники так и не успели увидеть Петрова-Водкина и не увидят других художников Революции, которых когда-нибудь извлекут из запасников, освободят и вернут в залы музеев.

В просветах между картинами зеленела трава Гайд-парка, там ходили люди, счастливые и беззаботные, свободные от проблем живописи. Мир разделился на две части – по ту сторону решетки и по эту. Я хотел быть по ту сторону.

Я вошел в Гайд-парк. Великое множество картин обернулось ко мне чистой изнанкой холстов. Светло-серые, коричневые прямоугольники прильнули к решеткам, глядя на кусты, на деревья – извечные и прекрасные изделия природы.

В глубине парка, на какой-то лужайке, я бросился на траву, вытянул усталые ноги и с наслаждением уставился на серо-голубое небо, пустое, легкое, без единого

Примечание к путеводителю. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
мазка облаков.

Покой медленно нисходил на меня. Я помирился с Гайд-парком. Он представлял передо мной заповедником естества и подлинности.

Живописцы остались за решеткой. Не играла музыка. Не было никаких аттракционов, качелей, тиров, буфетов, танцевальных площадок, каруселей, читален, а были только лужайки, трава, пруды, ничто не мешало их видеть, и от этого они казались натуральней, красивей, и люди тут были натуральней. Люди лежали, сидели на траве, скинув обувь, свободные от жажды развлечений и уличной тесноты. Несколько квадратных километров природы посреди города.

Меня окликнула знакомая из нашей группы. Она тоже устала и села рядом на шезлонг. Я предложил ей снять туфли, но она постеснялась. Это была славная женщина, веселая, милая, начитанная, но тут ей что-то мешало. Я лежал, закинув ногу на ногу в одних носках. Она ничего не сказала мне, однако я чувствовал, что ей не нравится моя вольность. Она дала понять это мне через несколько минут, указав на лежащую неподалеку парочку, – кажется, они обнимались и целовались. Никто на них не глядел, и я тоже избегал смотреть в их сторону.

– Все же так нельзя. Здесь общественное место, – сказала она.

– А почему это вам мешает? – спросил я, веселясь, потому что я не желал вести серьезных разговоров.

– Нет, нет, не смейтесь, вы же не станете целоваться на виду у всех?

– Смотря с кем.

– Перестаньте, – попросила она, морщась. – Неужели вас не коробит?.. – Она показала на парочку.

– А я не смотрю. И вам не советую. Если вы будете указывать на них пальцем, вас может оштрафовать полицейский.

– Вы серьезно?

– Недавно одного туриста оштрафовали.

– Значит, тут и закон на их стороне? Ну разве это не позор? Вот вам и нравы.

Я сел, обхватив колени руками, мне хотелось видеть ее лицо.

– А где, по-вашему, можно целоваться? В парадном – это как, более нравственно?

Она мило покраснела.

– Во всяком случае...

– Так вот, с парадными, если вы обратили внимание, в Англии туго. То есть парадных много, но они все закрыты. Они в большинстве личного пользования. Частная опять же собственность.

– Но с какой стати я должна терпеть это зрелище в парке? Меня это оскорбляет. Если рассуждать так, как вы, то все можно. Что же тогда, по-вашему, распущенность?

– Хорошо, – сказал я. – Допустим, мне тоже неприятно. Но почему наши с вами вкусы должны служить нормами нравственности?

– Вы забываете про детей! Какой пример для детей?

– Дети должны гулять с родителями.

– Слава богу, что у вас нет власти, а то бы вы и у нас разрешили, и без того у нас хулиганят.

– Ага! – сказал я. – Попались! У нас не разрешают, а хулиганство есть. Может

Примечание к путеводителю. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru быть, эти вещи и не связаны, а может, и вообще все совсем наоборот.

– То есть? – Но тут она с досадой махнула рукой: – Вас не переспоришь. Я знаю, вам самому не нравится, но вы хотите выглядеть современным. Как же, Запад! Небось и этот подзаборный абстракт вы не осуждаете.

– Вот и не угадали!

– Ага!

– И все же запрещать не стоит, – сказал я совершенно честно.

– Но ведь есть же вещи...

– Наверное, – сказал я, – наверное есть. Впрочем, кое-что лучше попробовать самому. Вот, например, помните, как ругали жевательную резинку? А я купил двадцать пачек. Прекрасная штука. Вместо сигарет. Отвыкаю курить.

– Это не пример.

Я надел туфли, встал. Мы пошли. Пройдя несколько шагов, я остановился, обнял и поцеловал ее.

– Это тоже не пример, – жалобно сказала она.

ЗАГОВОРЩИКИ

У Эдинбургского замка стоял шотландский стрелок в клетчатой юбке. Перед ним стоял я, погруженный в тупое и упорное раздумье. Поверх юбки стрелка на самом, можно сказать, срамном месте, висел большой белый кошелек. У всех часовых висели такие кошельки, и перед каждым часовым я застывал, мучимый загадкой, для чего нужен солдату ридикюль. Это звучало как неотвязный мотив: «Зачем солдату ридикюль?.. Зачем солдату ридикюль?..»

Туристская Шотландия состоит прежде всего из замков, клетчатых пледов и Марии Стюарт. Ничего плохого в этом нет. Каждая страна, каждая местность должна иметь свой экзотический стандарт. Например, Псков славится снетками. Наверное, ни в одном ресторане мира нельзя получить снетки, тарелку сушеных снетков, щи со снетками, а в Пскове можно, и это хорошо, так же как хороша наша деревенская баня с березовыми вениками, половики, вышитые полотенца, так же как шотландская клетчатая юбка, клетчатые ковры, цветная клетка, которой расчерчена вся Шотландия, ее отели, переплеты книг, – все здесь клетчатое.

– Зачем солдату ридикюль?

– Сразу видно, вы никогда не носили юбки, – сказал мне солдат. – Карманов-то нет!

Это было так просто, что я покраснел. Казалось бы, элементарная задача перевоплощения – представить себя в юбке, и сразу должно стать ясно. Зачем женщине ридикюль, затем и солдату ридикюль. А еще писатель! Всю жизнь меня угнетает неисчерпаемость того, что должен уметь писатель, знать писатель, видеть писатель. Проклятая профессия! И все равно где-нибудь тебе воткнут: а еще писатель!

..Но больше всего в этой туристской Шотландии было Марии Стюарт.

Трудно представить себе, сколько эта женщина успела создать памятных мест. Такое впечатление, что она специально работала по заказу туристских компаний, торопясь из замка в замок, чтобы посидеть в заточении, устроить заговор, убийство, взрыв, покушение, побег. Не просто нагромождение событий, не просто жизнь, а сюжет, построенный по лучшим правилам детектива или по образцу лучших детективов. Как угодно.

Вот шкатулка с уличающими письмами, вот любимые вышивки. Здесь жили ее кошки, отсюда выволокли секретаря королевы Риччио, здесь его убили, тут было пятно крови, там его похоронили.

Девушка-гид, стройная, как ранняя готика, до сих пор, то есть четыреста лет, взволнована до слез судьбой Риччио. Ее волнение передается нам. Бедный Риччио! Подумать только, мы-то о нем и знать не знали. Мы охотно расстроились, мы ахали и вздыхали, чтобы наверстать упущенное, мы принялись записывать драгоценные подробности, задавать вопросы, уточнять, переживали, толпились, разглядывая кресло, за которым прятался Риччио, четырехсотлетние несмыаемые пятна крови на деревянном полу. Пятьдесят шесть ударов кинжалом нанесли ему. Кто-то подсчитывал. Опечаленные глаза наши устремляются к портрету Риччио – впрочем, выясняется, что это не Риччио, а Дарнлей – муж Марии, который убил бедного Риччио, а его, в свою очередь, убила бедная Мария.

Долго еще этот Риччио преследовал нас, как призрак появляясь среди улочек Эдинбурга, где-то в горах, в часовнях. Но наконец и он отстал, уступив место новым мужьям Марии и ее сопернице Елизавете. Католики резали протестантов, протестанты казнили католиков. А вот баня, где Мария купалась в молоке, и еще замок, где кто-то и что-то с этой Марией...

Поколения гидов кормятся похождениями королевы, поколения туристов увозят торопливо исписанные блокноты. Без этой изукрашенной романистами, драматургами истории Марии Стюарт замки смотрелись бы хуже, и турист не стал бы карабкаться в гору и по крутым лестничкам: турист хочет переживаний.

Лично я переживал всю. Мне приятно было верить в эти рассказы. Я люблю быть обманутым, когда обман ничего не преследует, кроме удовольствия. Какое мне дело, справедливы ли эти предания, анекдоты о великих людях, подлинны ли ветхие кресла и гусиные перья? Если спектакль хорошо поставлен, то стоит ли портить себе впечатление? Можно, конечно, усомниться, скепсис – вещь полезная, только не здесь; ведь как оно было на самом деле, мы все равно не узнаем. Хуже другое: никак не удастся попасть на экскурсию, которую будут водить через четыреста лет. О чем там будет рассказывать такая же девушка-гид, какие анекдоты и легенды, какой сюжет она выстроит из событий нашего времени?

Юбочка на ней была – последний крик: четыре пальца выше колен. Сразу видно, что эта девушка знала все, о чем я лишь мог догадываться.

– Четыреста лет, подумаешь! – сказала она. – Я уверена, что наша фирма уже подготовилась.

Мы улыбнулись друг другу, но я подумал: кто знает, а что если в сейфах этой предусмотрительной фирмы уже лежат инструкции, методички, отпечатанные тексты и путеводители по Шотландии шестидесятых-семидесятых годов, по историческим местам нашей жизни?

Замки Шотландии прекрасны и сами по себе. Кованый узор ворот, темный камень, зацветший зеленым мхом, а посреди двора газон с травой не просто зеленой, сотни лет ее надо было подстригать, чтобы накопилась такая нерастраченная ярость зелени.

Замки поддерживаются в идеальном порядке. Идут и идут экскурсии, замки работают на полный ход – тяжелая индустрия туристской промышленности.

С каждым замком подозрения мои насчет Марии Стюарт росли. Слишком уж аккуратно сохранилось все, любые мелочи, связанные с злоключениями королевы, кроме разве что ее любимых кошек. Как будто все было известно наперед, за четыре века приготовились к нашему приходу. Покойница слыла крупнейшим мастером по части заговоров, интриг. Несколько столетий трудились историки, пока распутали этот клубок козней. Однако крупнейший из заговоров Марии остался нераскрытым – это ее тайный сговор с туристскими фирмами.

Эта страна прелестна тем, что снабдила каждый свой городок знаменитым замком и не менее знаменитым собором, построенным, конечно, в середине века и еще раньше – шедевр ранней (поздней, периода расцвета, периода упадка...) готики (барокко, ампира, «украшенной» готики, «перпендикулярной» готики). Каждый собор имеет, конечно, замечательные образцы скульптуры. Имеются, так же обязательно, лучшие, редчайшие, единственные в своем роде, уникальные росписи, залы, картины.

Кроме того, полагается на любой городок несколько памятников и легенд.

Примечание к путеводителю. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru Распределялись (а вдруг и до сих пор распределяются?) они демократично, так, чтобы поровну, каждому городку по знаменитому человеку. Правда, знаменитостей на всех не хватает, приходится делить, у одних знаменитый родился, у других умер. При этом о потомках заботились, то есть о нас: памятные места раскидывались не где попало, а располагали по удобному маршруту, чтобы не сворачивать и не делать крюков, – так они выстраиваются один за другим, и все в центре – здесь родился Конан Дойл, здесь жил художник Генри Ребёрн, здесь умер Джеймс Симпсон, который применял хлороформ, затем следует дом Белла – изобретателя телефона, дом, где женился еще один корифей, и дом, где один основатель основал...

Соборы и впрямь хороши, и замки красивы. Мы проезжали мимо них с чувством облегчения и грусти. Не помню уж где, в каком-то дворцовом павильончике я увидел отличный автопортрет Рембрандта. Я увидел его случайно и разозлился. Легче было бы, если б в павильоне висели плохие картины. Я представил, сколько мы не успели увидеть прекрасных картин. Но спрашивается: какое количество картин может обзреть нормальный турист? Тысячу? Две? А скульптур? А реликвий? Замков? Соборов? Мы давно отупели. Мы вяло брели сквозь музейные залы, и однажды я заметил, что мы одурело разглядывали группу шведских туристов. Кажется, мы спутали их с роденовскими «Гражданами города Кале».

Профессиональное заболевание путешественника называется «как бы чего не упустить». Начинается оно с музейной лихорадки: взгляд мутнеет, зрачки бегают, шея вытягивается, движения делаются судорожными и безостановочными, уже некогда разглядывать картины, запоминать, любоваться, важно успеть обежать все залы, все этажи, знаешь, что в голове каша, невысказанный клубок из мрамора, дат, полотен, но остановиться невозможно, скорость нарастает, еще галерея, еще фрески, еще шедевры. Наступает отвращение, изжога...

- Какая изжога? Где изжога?
- Почему нам не показали изжогу?
- Какого века?
- Нет, это памятник.
- Кому памятник?
- Изобретателю изжоги памятник...

Мне бы вовремя остановиться, вспомнить ужасную участь своего друга. Когда-то, приехав в Ленинград на один день, он решил зараз осмотреть Эрмитаж и Русский музей. Вернулся он под вечер, бледный, голова тряслась, воспаленные глаза опасно блестели. Он повалился на диван и с нехорошей улыбкой стал оглядывать стены моей комнаты.

– Черт возьми, вот этот зал не успел! – забормотал он. – Так я и думал, от импрессионистов надо было подняться сюда, там была лестница в египетских гробницах, где лежали бурлаки, сделанные из гобеленов, представляешь, такие голубые, и с ними Степан Разин, плывут на этих лоджиях Рафаэля. Ну, конечно, впереди блудный сын, а направо бытовые сцены из жизни камей и мумий, и особенно неравный брак этой коричневой балерины с Леонардо, которого снимают с креста во время войны двенадцатого года, а кругом знамена, знамена, сам Петр вытачивал их на станках голландской школы, во всяком случае, о них писал Александр Пушкин, про саркофаг Александра Невского, чистое серебро, хотя с Левитаном никакого сравнения, но, может, это было в последний день Помпеи? Всего не упомнишь, зато столы, выложенные мозаикой, – как перед глазами, там выложено что-то из золотой кладовой, где голова у меня стала с малахитовую вазу, на великом полотне этого симпатичного испанца с фамилией, как у мальчика, вынимающего занозу у этого старика, что ухмыляется...

Больше года ему пришлось приводить себя в порядок. Я сочувствовал, веселился и думал, что уж я-то буду умнее.

ВОСКОВЫЕ ФИГУРЫ

В зале было темно, скрытый свет падал откуда-то сбоку на овальный стол, за

Примечание к путеводителю. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru которым сидело семь джентльменов. Лица их были хорошо освещены, они смотрели на меня осуждающе, почти недовольно, очевидно, я прервал их разговор. Вильсона я сразу узнал по портретам и осторожно кивнул ему. Он не ответил. Справа от него сидел министр внутренних дел, и остальные господа были тоже министры. Передо мной находился английский кабинет министров.

Я поздоровался. Они не ответили.

Никакого опыта по общению с министрами у меня не было. И никаких полномочий я не имел. Но и упускать случай тоже не следовало.

– Ну что, – осведомленно сказал я, – не сходятся концы с концами, а? – Тут я бил наверняка. – Недовольство-то растет? – И это тоже было безошибочно.

Министры сокрушенно молчали.

– То-то же. – Я воодушевился, но в это время подошел служитель в сизой униформе с золотыми пуговицами и подал мне каталог музея восковых фигур мадам Тюссо.

Я неохотно вернулся к действительности, испытав при этом разочарование, печаль, изумление и восхищение мастерством изготовления этих восковых министров. Жизнь улетучилась от них, осталась искусная работа имитаторов. Даже пушок на щеках имелся, костюмы были помяты, как поношенные, глаза блестели по-разному, отлично сделаны были эти министры. Можно было обратиться к ним с любым запросом, уличить, разнести в пух и прах, высказать им прямо в глаза – и все это за шесть шиллингов.

Следующие фигуры не производили уже такого впечатления. Привыкая, я различал подкрашенный воск лиц, приклеенные парики.

«Музей мадам Тюссо позволяет увидеть ваших героев – Черчилля или Кеннеди, Иоанна XXIII или Ганди, Чаплина или Брэдна...»

«Мы воссоздали исторические сцены: смерть Нельсона, маленькие принцы в Тауэре...»

Пройдя несколько шагов, я очутился в кругу королевской семьи. Принцессы и герцоги стояли передо мной. Наконец-то я увиделся с королем Норвегии, и королевой Голландии, и королевой Дании, их супругами. Они улыбались мне, я – им. Ах какое общество окружало меня, какие породистые старушки и старички, увешанные орденами, лентами, последние короли Европы! Даже грустно становилось при мысли, что может наступить время, когда ни одного короля не останется на земле.

Сэр Уинстон Черчилль сидел отдельно от этой аристократической компании, с палитрой в руках, соломенная шляпа сдвинута набекрень. Он писал маслом картину. Перед ним стоял мольберт, на полотне пестрело несколько мазков, замысел картины был неясен. Физиономия его излучала благодущие человека, ушедшего от дел. Я обрадовался, встретив его. Обнаруживая тут кого-либо из знакомых, испытываешь особое чувство, даже если это Макдональд или Эттли. Из памяти выплывали черты, известные по карикатурам, по чучелам, которые несли на демонстрациях. Ответ Чемберлену! Что-то про керзона. Тут все было сделано с полной достоверностью: точный рост, размер обуви, точный костюм тех лет, более того – из гардероба покойного. Фирма мадам Тюссо сохранит все особенности вашего облика, цвет глаз, форму рук, осанку, брови, только постарайтесь добиться славы. Становитесь полководцем, кинозвездой, папой римским, убийцей, лишь бы достаточно знаменитым.

А вот и Ллойд Джордж. И все же почему-то больше помнилось первомайское чучело, плывущее мимо трибун Дворцовой площади.

Нельсон мирно стоял рядом с Наполеоном. Кальвин и Лютер. Герберт Уэллс и Шоу. София Лорен и Элизабет Тэйлор. Маршал Тито, Фидель Кастро, Хо Ши Мин. Группа артистов. Группа кардиналов. Чемпионы мира – прославленные спортсмены Джо Дэвис, Кассиус Клей, Сонни Листон. Космонавты. «Биттлз». Американские президенты. Писатели. И опять короли. Больше всего было королей и королев: Георги, Эдуарды, Ричарды, Генрихи, Екатерины, Вильямы, Чарльзы. Третьи, Четвертые, Седьмые... Величественные осанки, позы и лица. Какие лица! Ни украшения, ни костюмы не могли скрыть этой «смеси глупости, невежества, похоти, сплина и злобы». Так выразился о них отсутствующий здесь (может, за то и отсутствующий) Джонатан Свифт.

Среди английского королевского дома у меня было несколько знакомых по хроникам Шекспира.

Разумеется, никто из них – ни Ричарды, ни Генрихи – не представляли себе, что они могут уцелеть благодаря пьесам какого-то актера, стать всего лишь сюжетом, поводом для представления и разных поучительных историй.

«Те свергнуты с престола, те убиты на войне, других посещали души убитых ими, другие отравлены женами, а эти зарезаны во сне. Все умерщвлены. В короне живет смерть. Старая шутиха, она позволяет на минуту разыгрывать короткую сцену царствования, вселять страх, наполнять взор самоуверенностью, будто это тело, служащее опытом жизни, – металл непроницаемый, и наконец, обольстив, приходит, прокалывает крошечной булавкой стены его крепости – и прощай, король!..»

Короли слабоумные, короли – распутники, эпилептики, профессиональные палачи, садисты, прелюбодеи – кого только тут не было! Номер 299 смотрел на меня тупыми, оловянными глазами. Я сверился с каталогом. Это был Георг III. Кое-что я знал о нем. Главным образом то, что, будучи сумасшедшим, он ухитрился процарствовать пятьдесят с лишним лет. Иногда бывали перерывы: на короля надевали смирительную рубашку. Но под мантией она выглядела незаметно. Легче все скрывать сумасшедшего на троне.

– Вы писатель? – спросил меня Георг. – Я любил вашу братию. Вообще всякое искусство. Поддерживал. Поощрял. Специальный орден учредил – Минервы. Вот, например, наградил Бити.

– Кого?

– Бити. Поэт. Неужели не слышали? Странно. Я ж его больше всех награждал. А Уэст? Видели его полотна?

– Нет, – сказал я. – Первый раз слышу.

Король задумался.

– Непонятно. Я же объявил его первым художником Англии. А кого ж вы видели из моего периода?

– Простите, ваше величество, вы когда... в некотором роде отдали душу?

– Ежели полностью, то в тысяча восемьсот двадцатом году, – обиженно сказал король. – А в тысяча восемьсот одиннадцатом я окончательно того... Может, и не заметили бы, да я к тому же ослеп, ну и отстранили.

– Ага, ясно. Но в те годы работали замечательные художники. Мне известны такие, как Блейк, Ребёрн, Констебль, ну и, конечно, Тернер.

– Какие ж они замечательные, – сказал король. – Среди них ведь ни одного кавалера ордена.

– А что касается поэтов, так ведь вы жили во времена великих поэтов – Вордсворт, Кольридж, Китс...

– Что значит – я жил! – язвительно поправил меня король. – Это они жили в мое царствование.

И он отпустил меня довольно холодно.

Королева Виктория восседала в кресле, рыхлая, одутловатая, совсем домашняя, вылепленная такой, какой до сих пор ее почитают в Англии. По-видимому, англичанам она больше всего нравится за то, что первая по-настоящему перестала ими управлять. Культ ее стал складываться, когда она отстранилась от всяких дел. Благодарные подданные принялись связывать ее имя с любыми вещами: армия королевы, почта королевы, погода королевы, флот королевы...

И так и этак приглядывался я к ней, ища черты прославленной мудрости. Что-то ведь должно было быть! Но видел я лишь любящую поест, хитроватую, хлопотливую,

Примечание к путеводителю. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru довольную собой мамашу многочисленного семейства.

– Я и есть та самая «добрая старая Англия», – заявляла она. – И формула «царствует, но не управляет» – это тоже мое. Мое открытие, во всяком случае, я внедрила.

Кто знает, может, в этой обыденности и заключался весь секрет, думал я, подданные иногда мечтают о заурядных правителях, надоедают им «яркие личности» – вожди, тираны и завоеватели.

Многое зависело, конечно, и от мастеров фирмы. У них тоже была своя задача – вылепить так, чтобы посетителям нравилось. А для этого облики королей и прочих исторических деятелей не должны были расходиться со школьной историей, с картинами, памятными с детства, с фильмами, телепередачами.

Приятно, когда происходит узнавание, даже не совпадение, а именно узнавание.

Короли и королевы стояли на выбор, для любых сказок – с печальным или веселым концом.

Во всех путевых записках принято бранить музей мадам Тюссо. Каждый автор доказывает, что восковые фигуры отвратительны, не имеют никакого отношения к искусству, полумертвецы, натурализм, посещение музея – напрасная потеря времени... Поскольку авторы единодушны, то приходится подчиняться. Мы привыкли, что все решается большинством голосов. Поэтому я тоже на всякий случай возмутился. Многие специально ходят во всякие заведения, чтобы повозмущаться. Например, ходят на стриптиз, чтобы возмущаться. И в подозрительные кабаре. И я понимаю их. Пока сам не увидишь, и возмущение какое-то не такое получается, нет того запала.

Однако время от времени я забывал про свое возмущение, потому что сама по себе коллекция этих восковых знаменитостей являла любопытную картину вкусов английского, да и не только английского, обывателя. Передо мной была биржа уличной славы. Курс чьих-то акций падал – и фигура удалялась. Звезды экрана гасли, премьеры уходили в отставку, кабинеты сменялись – изготавливали новых министров, паноптикум обновлялся.

По-настоящему я возмутился своим собственным возмущением, лишь обнаружив, что среди примерно четырехсот с лишним фигур не было ни одного ученого: ни Ньютона и Максвелла, ни Роберта Оуэна и Бертрана Рассела. Но тут же я спросил себя: так ли уж мне необходимо видеть воскового, раскрашенного Максвелла?..

Поглощенный мыслями о причудах славы, я вышел на светлую лестничную площадку и... остолбенел.

Перед нашим приездом в Лондоне произошло нашумевшее преступление: были убиты трое полицейских. Двоих убийц поймали, фотографии третьего, некоего Робертса, главаря банды, были расклеены повсюду с описанием примет. За розыск его обещалась награда в тысячу фунтов. Фотография Робертса примелькалась нам в метро, на стенах домов.

На лестничной скамейке, подняв воротник плаща, сидел Робертс и читал газету.

«Тысяча фунтов в кармане!» – вот что подумал я, прежде чем что-либо заподозрить. Аршинные заголовки на первых страницах: «Советский гражданин обставил Скотленд-Ярд!», «Бдительность Москвы – Робертс схвачен!», «Схватка в музее мадам Тюссо», «Удача или метод?», «Английское правительство награждает...» Мои фотографии, фотографии Робертса и английской королевы. Моя фигура в музее...

Слава была так близка. Если б она не оказалась восковой... Счастье еще, что я не схватил этого Робертса за руку и не повредил доходную шутку музея мадам Тюссо.

Обескураженный, я робко обошел «камеры ужасов», где изображались величайшие преступления и преступники – всевозможные убийцы, отравители, грабители. Там был и Людовик XVI на гильотине, Мария Антуанетта, Человек в железной маске, Мервуд на виселице, Марат в кровавой ванне. Убийцы уныло сидели на электрических стульях и в газовых камерах. Было темно, холодно и скучно. В соседнем зале щелкали автоматы. Механические крикеты, скачки, стрельбы. Десятки автоматов, развлекающих, играющих. Они тоже казались знаменитостями какого-то автовека,

Примечание к путеводителю. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru продолжением музея мадам Тюссо, так сказать, в будущем. Знаменитые роботы и киберы.

Недавно на одном совещании я встретил знакомого. Он поздоровался медлительно и величаво. Некоторое время я приглядывался к нему, пытаюсь сообразить, почему он так переменялся. И вдруг понял. Когда-то известный физик, он давно исчез, осталась лишь копия, предназначенная для обозрения и славы. Я вспомнил музей мадам Тюссо и начал замечать и другие такие же восковые персоны. Они сидели на этом совещании совсем как живые, но было в них нечто общее, тайная печать воскового величия, отделяющая их от живых людей. Костюм, ботинки, волосы – все было подлинное, точно по размеру. Фигуры двигались, произносили слова, некоторые даже здоровались, и узнать, что это копии, было не так-то просто.

ТРИНАДЦАТЬ СТУПЕНЕК

Побывав в Лондоне, лучше понимаешь Диккенса.

Можно было бы начать наоборот: прочитав Диккенса, лучше понимаешь Лондон.

Собственно, так оно и было.

Вот он, Блекфрайерс, где работал на складе Дэвид Копперфильд, а тут была долговая тюрьма Маршалси, а здесь Флит-стрит, Сити, суд, юридические конторы, стряпчие, дело «Бардл против Пиквика»...

Радость узнавания, странный, поразительный процесс соединения запечатленных с детства образов с этими непроницаемыми господами в котелках, в полосатых брюках, входящими в старые дома. «Домби и сын», «Приключения Оливера Твиста», «Холодный дом», «Лавка древностей» – все ожило, задвигалось. Как будто я знал многое про этих людей и знал, что происходит там, в этих офисах, знал этих желчных крючковаторов, этих усталых, бледных женщин. Где-то в толпе, в вагоне подземки слышишь смех Тэпли, идет чопорный господин, похожий на Домби, можно уличающе подмигнуть болтливому Джинглю, увидеть Урию Хипа. Существует целый диккенсовский Лондон, населенный сотнями его героев, с трущобами, торговыми фирмами, судейскими стряпчими, чиновниками, точными адресами, по этому городу устраиваются экскурсии, он живет внутри Лондона, не смешиваясь с Лондоном Голсуорси или Конан Доила, так же как Петербург Достоевского существует рядом с пушкинским, блоковским.

Диккенс описывает Лондон с точностью справочника. Ничего придуманного или вымышленного. Он не стесняется точно назвать улицы. В его книгах окраины, пристани, тюрьмы, богатые кварталы имеют не только адрес, они изображены со всеми деталями, они списаны.

После Лондона стоит перечитать Диккенса. Появляется множество деталей, тонкостей, до этого неуловимых. Впрочем, это относится ко всей английской литературе. Я взял роман Айрис Мэрдок «Под сетью» и на первых же страницах заулыбался:

«Кто мог вдохновить ее на такие туалеты? Я медленно обошел вокруг нее, внимательно приглядываясь.

– По-твоему, я что, памятник Альберту? – сказала Магдален.

– Ну что ты, с такими-то глазами!»

Раньше такая фраза ничего у меня не могла бы вызвать. Вместо «Альберту» могло бы стоять «Нельсону», «Джеймсу Куку» – все равно. Теперь же, насмотревшись на памятники принцу-консORTу, я невольно улыбнулся.

Все это вещи известные, тривиальные: побывав на Кавказе, лучше понимаешь многое у Лермонтова, побывав на Украине, иначе читаешь Шевченко, и так далее. Однако есть тут один секрет. Общеизвестные истины и есть наиболее любопытные истины, и часто они вовсе не истины, а бывшие сложности, от которых отступились.

Лучше всего я это почувствовал на примере Достоевского.

Примечание к путеводителю. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru Однажды вместе с внуком Достоевского, Андреем Федоровичем Достоевским, мы обошли места, связанные с романом «Преступление и наказание». С нами был мой товарищ, чешский писатель, литературовед, специалист по Достоевскому, – Франтишек К. Поход фактически был затеян ради него. Я коренной ленинградец, я люблю Достоевского, я, разумеется, считал, что мне-то все известно, а если какого адреса я и не знаю, то особого значения это не имеет, такие подробности нужны разве что для исследователя литературы. Итак, отправились мы, руководимые Андреем Федоровичем, человеком самим по себе весьма примечательным. Инженер, фронтовик, он, выйдя на пенсию, целиком посвятил себя делам своего великого деда. Впервые я столкнулся с ним в хлопотах по созданию в Ленинграде памятной квартиры-музея Достоевского и с тех пор не раз убеждался в его доскональном знании малейших обстоятельств, связанных с петербургской жизнью Достоевского. И вот сейчас, когда мы вышли на проспект Майорова, Андрей Федорович начал рассказывать, где и что было в те годы, то есть сто лет назад, – увеселительные заведения, трактиры, распивочные – здесь и на соседних улицах. Он видел район глазами современников Достоевского, в подробностях зная историю почти каждого дома. Слушать его было весьма интересно, как и всякого историка-специалиста, до той минуты, когда он вдруг, показав на дом, сказал: «Тут были ворота, а во дворе находился камень, под которым Раскольников спрятал драгоценности, взятые у старухи». Сказал он это с полной убежденностью, и, поймав наше недоумение, открыл заложенную страницу романа «Преступление и наказание» и прочел нам:

«..Выходя с В-го проспекта на площадь, он вдруг увидел налево вход во двор, обставленный совершенно глухими стенами. Справа, тотчас же по входе в ворота, далеко во двор тянулась глухая небеленая стена соседнего четырехэтажного дома...»

И далее подробное описание уединенного места, где лежал большой неотесанный камень...

Дом был перестроен, но Андрей Федорович поднял в архивах старые чертежи, по ним все сходилось, все точно соответствовало. И все же, признаюсь, я не поверил, я решил, что это – совпадение, какая-то случайность, не больше.

Мы свернули вправо от улицы Пржевальского, и Андрей Федорович привел нас к дому № 19, заявив, что здесь жил Раскольников. И дом, и двор имели, как нарочно, ужасный вид, во дворе была грязь, валялись мусорные баки, тряпье, какие-то старые ломаные стулья. По стоптанным каменным ступеням мы поднялись на узкую темную лестницу с полукруглыми проемами и по ней наверх, до каморки Раскольникова.

«Каморка его приходилась под самую кровлей высокого пятиэтажного дома... Квартирная же хозяйка его, у которой он нанимал эту каморку... помещалась одною лестницей ниже... и каждый раз, при выходе на улицу, ему непременно надо было проходить мимо хозяйкиной кухни, почти всегда настезь отворенной на лестницу.»

Была каморка, туда вели тринадцать ступенек, как и было сказано в романе, и была лестница мимо квартиры с кухней, именно кухня окном выходила прямо на площадку.

Но, может, другие лестницы в доме так же были расположены? Нет, из всех лестниц она наиболее соответствовала описанию, и нигде не было кухни с окном. Ну хорошо, допустим даже, что так, но играет ли это какую-то роль в романе, стоит ли этому придавать значение? В том-то и штука, что расположение имело важное значение, и прежде всего для Раскольникова. Действия его были связаны с этой кухней, там он высмотрел топор, нужный ему для убийства. Однако, сойдя с лестницы, увидел, что Настасья на кухне и, следовательно, топора взять нельзя. Вдруг начали действовать те мелочи, которыми он пренебрегал, считал их ничтожными перед силою воли и главных идей своих, а вот они-то и ожили, и он был поражен.

Андрей Федорович читал, и мы повторяли все движения Раскольникова, спускались вниз, во двор, под ворота, где Раскольников стоял бесцельно, униженный и раздавленный, пока вдруг не увидел в каморке дворницкой топор. И дворницкая была с двумя ступеньками вниз (двумя! – точно так и было), мы заглянули туда, в сырую темноту, там помещалась заброшенная кладовка. Затем мы вышли и направились к дому старухи процентщицы.

«Иди ему было немного: он даже знал, сколько шагов от ворот его дома – ровно семьсот тридцать.»

Примечание к путеводителю. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru Постепенно проникаясь ощущениями Раскольникова, мы тоже считали шаги, с некоторым замиранием сердца подошли к «преогромнейшему дому, выходящему одною стеной на канаву, а другою в В-ю улицу». Дом, на счастье, сохранился в том же виде, окрашенный какой-то безобразной грязно-розовой краской. «Входящие и выходящие так и шмыгали под обоими воротами и на обоих дворах дома.» Во дворе множество одинаковых окон со всех сторон неприятно следило за нами. По узкой темной лестнице, где сохранились на перилах обтертые шары желтой меди, мы поднялись на четвертый этаж до квартиры старухи процентщицы и остановились перед дверью. Как раз на лестнице мы никого не встретили. Чувство перевоплощения было полное, до нервной дрожи в руках. Больше я не сомневался. И дальше, когда Андрей Федорович повел нас к полицейской конторе, расположение которой он так же точно установил по архивам, и оно убедительно совмещалось с описанием в романе: новый дом, ворота, направо лестница, узенькая, крутая. И неподалеку дом, где жили Мармеладовы, – «дом Козеля, немца». И лавку галантерейную, и трактир...

На улице с развороченным бульжником тихо прогуливалась сухонькая старушонка, держа собачку. Старушка была в черной кружевной пелеринке, собачка в нейлоновом жилетике. На углу старики на ящике играли в шахматы. К ним подошли двое подвыпивших. Сняв соломенные шляпы, они спросили: «Как вы относитесь к тем, кто вышел из тюрьмы?»

Вода в канале Грибоедова стояла зеленоватая, грязная. На Сенной, то есть на площади Мира, возле бывшей гауптвахты, где сидел Достоевский, шла ярко раскрашенная женщина. Она посмотрела на нас глазами Сонечки...Чушь, сказал я себе, ерунда собачья, просто мы в таком настроении и видим соответственно такому настроению.

Но другое, другое мучило меня, куда более серьезное: зачем нужна была Достоевскому подобная точность? Ведь не было же никакого Раскольникова. А его каморка, а тринадцать ступенек, ведущие в нее? Они-то есть. Выходит, Достоевский бывал здесь, во всех этих местах, выбрал именно эту лестницу и эту каморку для своего героя, затем выбрал дом и квартиру старухи. Всмотрел, проделал весь путь Раскольникова, и не раз, так что отсчитал шаги и ступени. Следовательно, он полностью на месте разыграл для себя всю сцену и остальные сцены с точностью полицейского протокола, он действовал, как следователь. Нет, даже не так, потому что следователь идет по следам состоявшегося преступления, а Достоевский сперва совершил его в обличье Раскольникова, более того, он перед этим должен был определить всю топографию, поселить своих героев. Но зачем, спрашивается, ему необходима была такая точность, все эти адреса, разве не мог он сочинить, придумать, представить каморку с вымышленной лестницей, сочинить подробности, сочинить дом и квартиру старухи? Вроде бы легче и быстрее. Однако ни Андрей Федорович, ни франтишек не могли ответить мне. И кажется, никто из литературоведов, которые занимались Достоевским, а их немало, не отвечал на это, а может, они обходили эту удивительную особенность Достоевского, а может, и другое, может, Андрей Федорович впервые подробно показал реальность описаний в романе – то, на что другие не обращали особого внимания. Во всяком случае, для нас с франтишкой это было открытием.

Нечто похожее чувствуется у Диккенса. Подспудная точность описаний, доходящая до фактических адресов. Разумеется, я не мог этого проверить, может, на сей счет имеются английские исследования. Но суть даже не в этом. «Чтобы понять поэта, надо побывать на его родине», – говорил Гете. Разве мог бы чех франтишек К. ощутить в полной мере Достоевского, если бы не исходил он с нами все эти лестницы и дворы, и сам я, вроде бы коренной ленинградец, проникшись Достоевским, вдруг увидел то, чего раньше не замечал, то, что как-то заслонялось новым, привычным Ленинградом, с его автомашинами, новыми домами, витринами, асфальтом. Так было и в Лондоне: Диккенс помогал мне узнавать Лондон, и Лондон помогал мне понять Диккенса.

И все же не до конца. Обязательно существуют какие-то подробности, непостижимые для иностранца. Сколько бы я ни изучал Англию и Диккенса, всегда остается некий неделимый остаток, оттенки, недоступные пониманию, и не только оттенки, а может, и нечто более серьезное.

В те минуты, когда мы стояли в подворотне перед дворницкой, откуда из-под лавки блеснул топор, и читали, как Раскольников, до этого раздавленный, униженный неудачей, воспрянул, бросился на топор, вытащил его из-под лавки, сунул под пальто, прикрепив к петле, я заметил, что случай этот, увиденный и пережитый

Примечание к путеводителю. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru нами, так сказать, на месте происшествия, произвел особо сильное впечатление на франтишека. Случайность показала ему странной, несколько многозначительной. Я не сразу понял, откуда происходит разница наших восприятий, лишь в Лондоне мне вдруг прояснилось. Топор не принимался франтишеком как предмет обыденный, распространенный, необходимейший в городской жизни тех лет. Да и не только тех лет. Для меня то, что топор стоял в дворницкой, – дело естественное. Печное отопление существовало до последних лет в большинстве ленинградских домов. Во дворах высились поленницы. С детства я привык пилить дрова, колоть, таскать их вязанками домой. Топор имелся в каждой квартире и, само собой, у дворников. В Праге же всегда топили углем, брикетами, как и в Лондоне и в других городах. Для франтишека топор в дворницкой – случайность, может, роковое стечение обстоятельств, в каком-то роде игра судьбы. И хотя франтишек жил в Москве, учился, знает нашу жизнь, невозможно требовать от него, чтобы он понимал топор, как понимает его русский человек. Конечно, стоит вдуматься – и разность пониманий исчезает, ничего тут мудреного нет, но вся хитрость в том, чтобы обнаружить подобный «топор». Часто и представить себе трудно, какая вещь может не дойти до чужеземца. Согласен, что пример мой не столь уж существен, наверное, имеются и более серьезные. Выявить их можно лишь нечаянно. Ни в каких комментариях такие вещи не предусмотреть. Все это ко мне пришло позже, а тогда, в подворотне, другая невероятная мысль томила меня: достоверность адресов, расположения, до каких пор простиралась она у Достоевского, что, как и топор, он увидел здесь, в дворницкой, под лавкой; не Раскольникову, а ему он блеснул, ему, когда он шел здесь, представляя Раскольникова... Но тут, я чувствую, начинается столь зыбкое, таинственное, тайное тайных, область недозволенного, чего не следует касаться... Только теперь я начинал постигать, как много скрывается за такими вроде бы очевидными ходовыми понятиями, как Петербург Достоевского или Лондон Диккенса.

ДВА МОСТА

1

Витиевато кружили улочки, стиснутые грубо тесанным камнем домов, мелькали частые белые переплеты окон, вывески с гербами и коронами, старинные, сплюснутые с боков, узенькие дома, кованые фонари, медные молотки на дубовых дверях, и вдруг на каком-то повороте машина вырвалась в распахнутый низкий речной простор, где лежали зеленые поймы, было много солнца, неба, ленивая ширь воды, и через всю эту поблескивающую даль висели два огромных моста. Они тянулись параллельно довольно близко друг от друга. Их разделяло всего восемьдесят лет. Старый железнодорожный мост был совсем не старый: восемьдесят лет – ерундовый возраст для такой махины. И старым-то его стали называть совсем недавно, когда рядом построили новый мост. Без этого соседства несколько лет назад и в голову не могло прийти, что он устарел. Мы вышли из машины. Два моста – два разных века с их разными понятиями красоты, технического могущества, с различием их возможностей.

Я попробовал представить, как тут было, когда старый мост стоял один. Я повернулся к новому мосту спиной. Из воды поднимались высокие и мощные, как башни, каменные быки. На них лежали тысячетонные стальные фермы. Вишнево окрашенные конструкции застыли железными волнами. Сплетения бесчисленных балок, раскосов, укосин протянулись над водой на три километра. Я вспоминал пухлые учебники сопромата, тоску однообразных эпюр, таблицы, остервенелые пересчеты в поисках ошибок.

Когда-то это был знаменитейший мост, кажется, первый мост консольно-балочной системы; он приводился в пример во всех атласах, схема его висела в нашей лаборатории: «Фортский мост в Шотландии. Триумф техники XIX века». Да, это был прекрасный, могучий мост. До сих пор он производил впечатление своей силой.

И все же он был испорчен; как бы я ни подстегивал свое воображение, он был испорчен сравнением, я уже успел увидеть новый мост и ничего не мог поделывать, я невольно сопоставлял их.

Легкий, светлый новый мост висел на тонких трубах, которые казались нитями, он был паутинно натянут над блеском воды, вместо мощности в нем была невесомость; он поражал не сложностью, а простотой. Инженерная мысль, расчеты, формулы – все

Примечание к путеводителю. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru было спрятано, сведено в минимум линий, и те казались лишь рисунком.

Не могло быть моста проще, изящней, чем новый мост. Плавный выгиб его выглядел законченным совершенством. Мост красовался, как абсолют. Он доказывал всем, что он абсолют, идеальное решение. Никак я не мог представить себе лучшего сооружения.

– Нет, так не бывает, – упрямо сказал я. – Знаем мы эти штучки! Пройдет несколько лет, и этот мост тоже станет неуклюжим.

– В чем именно? Что устареет? Конкретно: какие узлы вам не нравятся? Что вы могли бы предложить взамен?

Я честно пытался найти будущие изъяны, я пытался придумать нечто лучшее и не мог.

По старому мосту шел поезд. Старый мост гулко смеялся.

И с ним некогда было то же самое. И он когда-то казался совершенством.

Восемьдесят лет назад Шотландия не имела автомобилей, радио, кино, электровозов. В те годы появился первый телефон. Я видел его в музее в Глазго. Телефон Белла в большом деревянном футляре с рупором. Рядом стоял фонограф 1878 года с валиком и иглой. Стояли модели первых колесных пароходов 1840 года. Приятность была в том, что это не вообще первые, а первые, какие появились в Глазго. Они составляли историю города вместе с архитектурой, памятниками, картинами. По ним было видно, с какой скоростью поспевал Глазго за передовой техникой.

Мне вспомнились наши первые «эмки» и первые ЗИСы. Тогда формы их восхищали нас. А теперь рядом с новым «москвичом» они выглядят нелепо. По новому мосту мчался низкий белый «ягуар» последнего выпуска. Очертания его останутся такими же и через двадцать лет, и тем не менее он превратится в допотопное чудовище. Но суть в том, что сейчас я бессилён представить его некрасивым и смешным. Вещи живут по своим законам эволюции. Их вид изменяется внезапно, скачком, происходит нечто похожее на мутации. Радиоприемник превращается в маленький транзистор. Старые радиоприемники оказываются беспомощными и наивными, как вымершие ящерицы. Вместо керосинки появляется газовая плита. Аэроплан превращается в реактивный самолет. А потом, с годами, происходит еще одно превращение. Пренебрежение и усмешки наши исчезают, и рождается трогательное чувство. Я помню, как в Берлине видел гонки старинных автомобилей. На высоких лакированных экипажах клокотали, тряслись первые моторы с медными радиаторами. Шоферы в котелках и крагах нажимали резиновые груши клаксонов. Это было и смешно, и красиво. Вдруг в них открылась прелесть старины. Высокие колеса со спицами, фары с керосиновыми лампами. В Стратфорде на площади стояли старинные экипажи, запряженные лошадьми. Кучера в цилиндрах сидели на высоких козлах с длинными бичами в руках. Лакированные дверцы карет были изукрашены старинными гербами графства Варвик. Туристы садились в кареты и ехали по набережной Эйвона, по тихим улочкам Стратфорда, мимо шекспировских домов и старых парков.

Рядом с замками, дилижансами, каминами – со всей освоенной поэтической стариной – век техники выставляет свою старину, и она, еще недавно безобразная, оказывается трогательной. Первые граммофоны, паровозы, воздушные шары, электромоторы успели, оказывается, отдалиться от нынешнего человека, как мушкеты и шарманки.

Старый мост помогал выявить красоту нового моста. Я смотрел на них и думал, как правильно, что старина в Англии не запрятана в музеи. Что ею пользуются, она сохраняется в быту. Сохраняются старые пивные, в них дубовые бочки, высокие кружки, деревянные скамьи. Висят на магазинах старые железные вывески. В университетской столовой Оксфорда стоят древние деревянные столы, на них старинные лампы. Столетиями сохраняются названия лавочек, отелей, улиц. Я толком не могу объяснить, почему это так приятно. Как была Оксфорд-стрит при Диккенсе, так она и осталась, и так и будет. И Московская улица, и Хиргфорд-роуд. Англичане считают, что если вчера тут была кондитерская, то и завтра тут должна быть кондитерская, а не парикмахерская или бензоколонка. Любовь к старине не только мода и репутация фирмы, это уважение к своей истории. И есть еще что-то, кроме этого. Я все время сравнивал, испытывал зависть и грусть. Мне вспоминается Новгород моего детства, яблочный спас, глиняные свистульки, которыми торговали

Примечание к путеводителю. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru на базарах, веселая суета ярмарок, карусели, сооруженные на площадях, старые новгородские чайные... Наверное, тогда уже настоящих чайных не было, и я знал их больше по описаниям и по фильмам. Но в старой лондонской пивной близ Квинсвей мне захотелось, чтобы у нас в Ленинграде были тоже русские трактиры; чтобы в углу стояла фисгармония, и официанты ходили в русских рубашках, и можно было бы петь песни, пить чай из самовара; и чтобы на стенах висели русские лубки; и чтобы все это было без кокетства, с уважением и любовью к старине; чтобы можно было проехать на извозчике; и чтобы квас продавали не из железных цистерн. Ведь звучит столетиями полуденный выстрел с кронверка Петропавловской крепости. Это традиция Ленинграда, его отличие, его история.

Кроме старой существует и новая история. Мне захотелось увидеть на наших улицах (или хотя бы в городских музеях, в автоклубах) первые советские автомобили, чтобы иногда они проезжали, пыхтя и грохоча, и на них сидели шоферы в кожанках, перчатки с раструбами, а Седьмого ноября чтобы стояли в карауле не солдаты, а красноармейцы в буденовских шлемах, балтийские матросы в бушлатах...

На родине Бернса, рядом с домом, где он жил, по саду ходил шотландец в старинном костюме и играл на волынке. Разумеется, делалось это ради туристов, но все равно это было красиво, приятно и для туристов, и для англичан, и для жителей города Эр. Старина необходима современному человеку не только ради украшения жизни. Она возбуждает особую любовь к родине, она противоядие от всеобщей стандартизации, в ней есть еще какой-то необходимый нравственный витамин.

Дубовые панели оксфордской столовой увешаны портретами всех знаменитых выпускников университета. В часовнях колледжей хранятся длинные списки студентов, погибших в первой и второй мировых войнах. Такие списки повсюду. Лежат толстые тома, где страница за страницей, сотни страниц заполнены именами павших в боях – дата смерти, фронт.

В Эдинбургском замке висит мраморная доска с именами всех комендантов замка, начиная с 1177 года по нынешний. Любопытства ради я подсчитал, сколько их сменилось, – шестьдесят. Почти за восемьсот лет. Вполне удовлетворительная текучесть кадров.

В маленьком уличном баре Глазго висел портрет усатого господина. Я спросил, кто это. Бармен с укором посмотрел на меня: да это же мистер Стенгон! Я решил идти напролом: а кто такой мистер Стенгон? Господи, да это же основатель нашего бара, он основал его в 1897 году! Никогда еще я не чувствовал себя таким невеждой. Тесная, заплеванная комнатка бара выглядела после этого иначе. Жизнь мистера Стенгона не прошла даром. Поколения любителей виски и пива имеют возможность каждый вечер поминать добром предприимчивого мистера Стенгона. Кто вспомнит о нас через каких-нибудь пятьдесят лет, меланхолично размышляя я, а этот мистер Стенгон будет все так же славен в своем квартале, если, конечно, санитарный врач не прикроет эту забегаловку.

На Принцесс-стрит в Эдинбурге стоят деревянные скамейки с памятным дощечками на спинках – поставлена в честь такого-то учителя, в память такого-то врача или на средства мисс такой-то. Вдоль улицы памятники, а у памятников – скамейки, тоже памятник, самый полезный из всех видов памятников.

Традиции – национальное богатство Англии. Поскольку экспортировать их нельзя, то запас их не то что золотой запас – запас традиций не тает. Правда, от кое-чего англичане стараются отделаться, – от ярдов, миль, футов, галлонов, пинт перейти на метрическую систему, перейти на правостороннее движение, на новую денежную систему, однако практики отмены традиций пока нет, и кажется, ее не очень-то хотят приобретать.

К традициям приспосабливаются. В Оксфорде правило: в девять часов вечера студенты должны быть в колледже. Ворота запираются во всех тридцати одном колледже. Если студент приходит после двенадцати часов ночи, его штрафуют. Но тут же в студенческих газетах печатаются советы и инструкции, как проникать в колледжи после полуночи.

В мае университеты на неделю отдаются во власть студентам. Карнавалы, песни, розыгрыши; полиция не вмешивается, каждый колледж изощряется в выдумках. Ночью разобрали машину профессора, перетащили части на площадку башни и там собрали ее. Похитили Бертрана Рассела. Сорок девушек втиснулись в будку телефонного

Примечание к путеводителю. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru автомата, установив мировой рекорд! Переоделись полицейскими...

Мне вспомнилось, как мы ходили из колледжа в колледж и наш гид, хрупкая, засушенная до прозрачности старушка, сообщала про большой университетский колокол, который единственный раз в истории не отзвонил вечером свои сто один удар – во время войны, когда Англия ожидала гитлеровского вторжения; рассказывала про Льюиса Кэрролла, который учился здесь, и про картину Эль Греко, которую подарил кто-то из бывших учеников, – всяческие забавные правила и обычаи, которые отличают каждый колледж: там нельзя носить бороду, там длина мантии столько-то сантиметров – масса вроде бы нелепых традиций, и ими гордятся, их поддерживают.

– Безобразия, – возмутилась Зоя Семеновна, – всей этой чепухой только отвлекают внимание!

– Но ведь они несерьезно относятся к этому, – сказал я. – Игра. Так веселее учиться.

– Не выгораживайте! – строго сказала Зоя Семеновна. – И эта старушка, слышите, как она замазывает социальную сторону!

Зоя Семеновна жаждала политических схваток. По дороге в Англию она волновалась, готовясь к провокациям, каверзным вопросам; она была убеждена, что придется отстаивать, раскрывать подноготную, давать отпор. Но проходили дни, противник почему-то не обращал на нее внимания, уклонялся. Зоя Семеновна изнывала от неистраченной активности. Высокая, с сильным голосом, она могла бы заткнуть за пояс всех ораторов Гайд-парка. Однако трудность состояла в том, что здесь, на «месте происшествия», капитализм выглядел куда сложнее, чем дома, разоблачить его было труднее, все запуталось, сплелось: кроме капитализма существовал еще народ с национальным своеобразным укладом жизни, в котором было много прелести, существовал характер англичанина – честный, независимый, прямой, существовали традиции, украшающие жизнь.

...Трава, упругая, зеленая до оскомины, делала все, чтобы успокоить нас; толстые черные дрозды гуляли рядом с нами, веря в наше дружелюбие.

Над рекой Ферт-оф-Форд висели два моста. Каждый из них был по-своему красив. Но как бы они ни были красивы, они были всего лишь мосты, а под ними блестела река, расстилались зеленые луга Шотландии, легкие синеватые холмы, и изменчивая, непрочная красота их казалась более вечной, чем железо и бетон...

2

На Трафальгарской площади по сторонам от колонны Нельсона стояли четыре памятника, вернее, установлены три, постамент же четвертого был еще никем не занят. Днем, как всегда, сквер полон народа, дети забирались на лежащих бронзовых львов, туристы щелкали и жужжали своими камерами.

Улучив удобную минуту, я влез на пустой пьедестал. Никто не обратил на это внимания. Полицейский, который прогуливался вокруг, несколько раз покосился из-под своей каски, но поскольку я не нарушал правила, не укладывался спать, а стоял себе совершенно смирненько, он успокоился.

Проходили часы. Руки на моей груди скрестились, правая нога чуть подалась вперед, и постепенно я перестал чем-либо отличаться от других памятников. Очень легко и просто стать типичным, рядовым английским памятником. Все они удивительно похожи друг на друга, как будто делались одним скульптором, с одного и того же натурщика. Стоит спустить их на землю, всунуть им в руку зонтик, и они станут неотличимы, подобно толпам лондонских клерков. Можно и наоборот: считать их клерками, взобравшимися на пьедесталы. Нигде еще я не видел столько памятников, как в Англии. Весь остров уставлен памятниками. Каждый из них в отдельности был бы вполне приемлем, но все вместе они угнетали количеством и однообразием. Империя щедро награждала памятниками своих полководцев, адмиралов, героев бесчисленных сражений, каждое из которых выглядело историческим и решающим. Отливали в бронзу фигуры тех, кто завоевывал Британию новые колонии, открывал земли, усмирял восстания, тех, кто свергал королей. Блистательные министры, мудрейшие дипломаты, любимые короли и любимцы королей – диву даешься,

Примечание к путеводителю. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru как много, оказывается, было их, этих вершителей судеб народов, спасителей, избавителей, защитников, благодетелей!

Королева Виктория устала города металлом и мрамором, изображающим ее обожаемого супруга Альберта. Города, в свою очередь, воздвигали памятники обожаемой королеве.

Ночью, когда прохожие исчезают, появляются памятники. Бронзово-мраморная знать толпится на площадях, на перекрестках, вдоль бульваров, все свободные места заняты ими. Конные статуи, колонны, обелиски, памятники писателям, королевским гвардейцам, знаменитым пожарам, морской пехоте, верным собачкам, изобретателям, врачам, подводникам, торговым морякам. Шотландцы, те, например, по любому поводу ставили памятники Вальтеру Скотту. По количеству памятников это, наверное, самый монументальный писатель.

Первыми ко мне привыкли голуби. Они стали пачкать меня так же, как и фельдмаршала Эблока и генерала Непира. Внизу папы и мамы покупали детям баночки с жареным зерном, дети кормили с рук голубей. Поклевав, голуби садились на нас. Поскольку адмирал Нельсон стоял выше всех на своей колонне, он был и чище всех, зато он чувствовал себя там, наверно, одиноко.

Вскоре подле меня начали фотографироваться туристы. Группе дотошных немцев почему-то надо было выяснить, кого я изображаю. Они листали путеводители, бегали к Непиру, к Генриху IV, сличали нас с фотографиями – очевидно, там было указано, что четвертый пьедестал пустой, но который из них пустой, теперь определить было непросто. Одни решили, что путеводитель устарел, другие доказывали, что я генерал Непир, а Непир – Эвлок, пока они окончательно не запутались. Они попробовали обратиться к старенькой леди, которая с внуками кормила голубей. Леди надела очки и принялась обзирать нас. Короткое любопытство оживило ее потухшие глаза. Особенно ей понравился Генрих IV, меня она оглядела без интереса. Даже на пьедестале я ничего собой не представлял. Взор ее, вероятно, за всю жизнь не поднимался выше бронзовых львов Трафальгар-сквера. Она, конечно, знала, что кто-то там стоит наверху, но кто именно – это ее не интересовало: слишком много памятников. Сам генерал Эвлок не очень-то знал, за что его сюда поставили, то есть когда-то он знал – за поход против афганцев, поход в Персию, усмирение сипаев, однако нынче признаваться в этом было неловко, и генерал стыдливо пожимал своими металлическими плечами. Я тоже не мог ему объяснить, кому я памятник. Жизнь моя, разумеется, не заслуживала никаких долговременных сооружений. Правда, генерал утешил меня: биография – дело историков, они ее выправят, подгонят, оснастят изречениями, анекдотами, примечаниями, и жизнь моя станет красивой, поучительной, прекрасной легендой, очищенной от неугодных фактов. Когда-то, во времена Возрождения, все было еще проще: кондотьер Коллеоне поставил себе памятник за собственные денежные, любой богатый человек мог заказать себе памятник – на коне, без коня... В те времена требовалось лишь, чтобы памятник был произведением искусства. Важно было, не кто изображен, а кто изобразил. Имя ваятеля, его талант – вот что ценилось; фактически оставался памятник скульптору.

О подобных вещах, о превратностях славы и размышлял я с тех пор, как стал памятником. Торопиться было некуда, торопились люди. Лондонская толпа деловая. С деловым видом мамы катят свои мальпосты, ведут на вожжах малышей, деловито мисс и миссис выводят на прогулки всевозможных пород собак, озабоченно бегут причудливо остриженные шпицы. Собак тьма. Они, впрочем, единственные, кто удостаивает вниманием все памятники. Люди спешат, и тем не менее даже в часы «пик» лондонская толпа отличается учтивостью, спокойствием. Улица в Лондоне существует не для гуляния. Хотя... Неподалеку от меня однажды остановилась парочка. Они остановились посреди площади, вдруг застыли, обнявшись, глаза их закрылись, губы слились, и все остановилось. То есть ничего не остановилось: поток людей огибал их, люди шли, договаривались, спорили, покупали, прощались, но все это происходило совсем в ином времени и измерении. Не время течет, а мы идем в нем, – они же никуда не шли, они были счастливы, и время для них не существовало, оно кончилось; это была та вечность, по сравнению с которой мое медленное бронзовое время стало мигмом. Ждать конца этого поцелуя было бессмысленно. Я тихо сошел с пьедестала. И опять-таки никто не обратил на это внимания. Четвертый пьедестал снова остался вакантным.

Пытал камин. Я сидел вытянув ноги, смотрел в огонь, курил сигарету и потягивал виски. Я отдыхал и воображал себя англичанином. Виски называлось «Георг IV». На этикетке был нарисован румяный красавец Георг.

Я взял бутылку и стал рассматривать порочное лицо короля.

– Ну как виски? – спросил старший Маклистер.

– Прекрасно, – сказал я. – Крепкая штука.

Зоя Семеновна незаметно толкнула меня в бок.

– Неудобно, – прошептала она. – Подумают, что мы дикари, первый раз видим виски.

– Но я действительно никогда не пил такого виски.

– Все равно не надо этого показывать.

– Послушайте, Гарри, – сказал я громко, – вы пили когда-нибудь хлебный квас? Эва, переведите, пожалуйста, – хлебный квас.

– Нет, – сказал Маклистер. – Что это за штука?

– А брагу вы пили? А самогон? Вот видите, дорогая Зоя Семеновна, и тем не менее он культурный человек. Почему я должен знать про это виски, если он не знает про квас?

– Роджер, – сказал Маклистер сыну, – сыграй что-нибудь гостям.

Роджер обрадовался, принес флейту. Его приятель вытащил скрипку. Я думал, что они хоть для виду поломаются, им все же было по семнадцать лет; по всем правилам они с ходу принялись играть всякие пьесы и песни, и все гости стали петь, и конечно, «Подмосковные вечера», «Стеньку Разина», «Широка страна моя родная». Они знали слова наших песен, мы же, как водится, давно позабыли. В перерывах говорили о музыке, о детях, о рыбной ловле, о Фолкнере, о телевидении, о Джоне Бернале, об автомашинах, обо всем, о чем могут говорить в гостях в Москве, в Ленинграде, в Новгороде. Поразительно, сколько, оказывается, существовало таких общих тем. Мы одинаково ругали телевизионные программы. Наши дети были, конечно, легкомысленней нас, совсем другое поколение. Джон Бернал был великий ученый, он предвидел социологию науки; Фолкнера читать трудно, а старинная музыка хороша.

– Вы заметьте, как они нас принимают, – сказала мне Зоя Семеновна, – кофе, напитки, печенье, бутерброды – и все. Не то что у нас. Обязательно наставят полный стол еды.

– И хорошо, что полный стол, – сказал я. – У каждого свои порядки, так и должно быть.

Она посмотрела на меня с глубокой жалостью. Я чувствовал, что она стыдится перед нашими хозяевами за меня и всячески доказывает за нас обоих, что все эти виски и сэндвичи нам не в диковинку, никакого кваса у нас нет, а если и есть, то от наших предков, которых мы тоже осуждаем за квасной патриотизм, и вообще мы – это вовсе не мы, потому что не могут англичане уважать самовар, валенки, моченую бруснику, они могут уважать только спутники и лазеры. В то же время она восторгалась и дымным английским камином, и крохотным жалким садиком и не смела поморщиться от непривычного невкусного английского чая с молоком и от жесткой системы умывальников без смесителей, где мыться можно либо кипятком, либо ледяной водой. Не то чтобы она убежденно преклонялась перед английским – все это происходило, разумеется, бессознательно, и самоотрицание ее было бессознательным, и какое-либо преклонение она, разумеется, не признавала. Когда же мы оставались без англичан, она исполнялась высокомерия и всячески отвергала уклад их жизни, опять же не в силу убеждения, не потому, что ей и впрямь не нравилось, а скорее из жажды самоутверждения.

Когда мы возвращались от Маклистеров, она расспрашивала меня, что особенного я успел заметить, так сказать, характерного для быта и нравов английской семьи. Она полагала, что я как писатель обязан быть проницательным, наблюдательным и

Примечание к путеводителю. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru прочее. Однако, к стыду моему, никаких наблюдений у меня не оказалось. Весь вечер я проболтал с Маклистером-старшим. «О чем же?» – спросила Зоя Семеновна. Тут я окончательно сконфузился. Маклистер работал мастером на радиозаводе, и обсуждали мы с ним будущее транзисторов и радиоприемников.

– Это вы могли обсудить и в Ленинграде, стоило ли для этого ехать в Англию, – сказала Зоя Семеновна.

Она была права, но я утешался тем, что Маклистер еще показал мне звонок, который он сам сделал: молоточек бил не по чашке, а по длинным бронзовым трубкам – звук получался мелодичный, протяжный. Маклистер объяснил мне, как подобрать трубки и как их подвешивать. Кроме звонка он сделал кухонный стол, переоборудовал мойку. До этого я был у Олдриджа, и Джеймс тоже с гордостью показывал мне мебель, которую он смастерил. Многие англичане вместо пресловутого хобби увлекаются ремеслами – красят, клеят, плотничают внутри своих крепостей.

По мере того как дом Маклистеров отдалялся, мне приходили на ум всевозможные вопросы, которые следовало бы задать в тот вечер, выяснить взгляды, отношения, понимание, множество разных вопросов, которые бы я мог осветить, привести, и у меня получилась бы полная картина жизни простой английской семьи. Вместо этого я сидел перед камином и пил виски. Но, странное дело, удовольствие от этого вечера не проходило. И было сильнее всяких сожалений. Осталось чувство душевного равноправия, никакого потока информации я не получил, а просто подружился с Маклистером. До сих пор вспоминается мое блаженное состояние покоя и полной свободы от всяких обязанностей. Скромная, тесная крепость Маклистеров, которую мы взяли с такой легкостью, гарнизон этой крепости, соседи из ближних крепостей, которые пришли повидаться с советскими людьми, тощие мальчишеские койки, любовно приготовленные крохотные сэндвичи... Мы познакомились с Маклистерами случайно, на каком-то приеме, и он пригласил нас в гости, приехал за нами. Чего ради? Зачем ему этот прием, расходы, хлопоты? Сколько бы я ни встречался с подобным гостеприимством на чужбине, я не могу привыкнуть к этому и воспринимать как должное. Я не знаю, как англичане принимают незнакомых французов, итальянцев, датчан. Мне кажется, что мы были для Маклистеров не просто чужеземцы, мы были советские. Что вкладывают они в это понятие? Наверно, там есть и любопытство, и опасение, и несогласие, но если все это сложить или вычесть, в итоге остается некое чувство, особое, не то чтобы любовь, я боюсь быть самоуверенным, мы нужны – вот что я ощутил, чем-то нужны, без нас уже нельзя, земля не может снова стать плоской.

Перед отъездом из Глазго к нам пришел журналист местной газеты. Он был любезен и недоверчив. Он спросил, как мне понравился Глазго. Я сказал, что не понравился: черный, унылый, некрасивый. Журналист вдруг обрадовался. Ему тоже не нравился Глазго. Мы заказали кофе и долго с удовольствием поносили Глазго и хвалили Эдинбург.

Журналист снял темные очки, усталые глаза его смотрели умно и весело.

– А вы знаете, это хорошо, что вы увидели грязные дома, тесноту, копать.

Сперва я не понял, почему это хорошо. И лишь потом, сидя в самолете, я вспомнил, как мы ходили по Ленинграду с одним писателем из Западной Германии. Это был хороший, честный писатель. Он хотел увидеть все как есть, мы заходили с ним в убогие старые дворы-колодцы, в коммунальные квартиры, мы пили пиво, плохое наше пиво в уличных ларьках. Он побывал в шикарных ресторанах и в скверных столовых. Он ездил в нашем отличном метро и в переполненных утренних трамваях. Не очень-то приятно было показывать ему все как есть. Кое-кто упрекал нас за это. И мы сами видели, что уехал он огорченным. Спустя год он приехал второй раз, потом третий. Он сказал мне, что полюбил нашу страну, потому что видел не только хорошее, но и плохое. Видел движение жизни, ее меняющийся облик, со всеми невзгодами, трудностями, преодолениями.

Любовь к стране возникает путано, загадочно, как всякая любовь. Неожиданно прорастают какие-то странные мелочи. Я шел по Лондону и вдруг развеселился, поняв, как англичане разрешили проблему зонтика. Сумеете ли вы назвать другую проблему, которая ежедневно возникала бы перед каждым горожанином с такой неразрешимой гамлетовской неотступностью? Брать или не брать? И утром и вечером человек задумывается над зонтиком. Развитие метеослужбы только усложняет положение. Мало взглянуть на небо, надо еще прослушать сводку и вывести распределение вероятностей. Англичане первые нашли выход – простой, как все

Примечание к путеводителю. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru великое. Они превратили зонты в постоянную принадлежность туалета. Такую же обязательную и бесполезную, как галстук или усы. Небо может оставаться ясным, без единого облачка, может наступить засуха – все равно англичанин берет зонтик, ничто уже не заставит англичанина оказаться без зонтика. Зонтик не зависит от погоды. Он не зависит от небес, он сам по себе – тросточка, палка, стек, завернутые в материю, – считайте как хотите; оказаться без зонтика невозможно – все равно что выйти без рубашки.

Первое, что заявила наша переводчица, знакомясь, – что она не англичанка, а шотландка. При всей своей мягкости и доброте, в этом она была непреклонна. Шотландцы считают, что Англия – это часть Шотландии, и не самая лучшая, а парни в ночном лондонском метро рассказывали мне, что в Ла-Манше непогода, суда во Францию не ходят и бедный материк отрезан от Англии. Может, сутки, может, несколько суток Европа останется на произвол судьбы, как-то она проживет. Они брэнчали на гитаре. Вагоны мчались под Лондоном, грязные старенькие вагоны старой скверной подземки с лифтами вместо эскалаторов, медленными лифтами, куда приходится стоять в долгой очереди, бежать по темным узким переходам. Я пересмеивался с этими незнакомыми бородатыми парнями, я давно проехал свою станцию и чувствовал, что ни черта я не понимаю в этих англичанах, которые из небольшого острова сделали большое государство, где Англия – часть Лондона, окраина Лондона, как они сказали, а Европа – часть Англии, и не самая лучшая...

– Что вам все же больше всего понравилось в нашей стране? – допытывался журналист.

Я сознавал, что он должен что-то написать. Я хотел помочь ему и не мог. И в Лондоне мне задавали тот же вопрос, и в Ленинграде, и всякий раз я беспомощно мялся. Вместо того чтобы вспомнить, что же мне понравилось, я думал о том, как много я не успел увидеть, особенно в Лондоне. Я хотел побродить рано утром по улочкам Сити, постоять у Биржи, у Парламента, потолкаться на рынке, пойти в Музей наук, проехаться по Темзе. Теперь-то я понимаю, что, в сущности, Лондона я по-настоящему не видел, не знаю. Мне хотелось снова приехать сюда и пожить хотя бы несколько дней, не торопясь, иногда скучать, и чтобы быть не туристом, а иметь дело. Наверное, и тогда я не смогу ответить журналисту: Лондон снова останется слишком большим, неуловимым, но, может быть, это и значит, что он понравился.

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке

<http://granikdaniel.ru/> Приятного чтения!

<http://buckshee.petimer.ru/> форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.

<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин

<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.

<http://filosoff.org/> философия, философы мира, философские течения. Биография

<http://dostoevskiyfyodor.ru/>

сайт <http://petimer.com/> Приятного чтения!